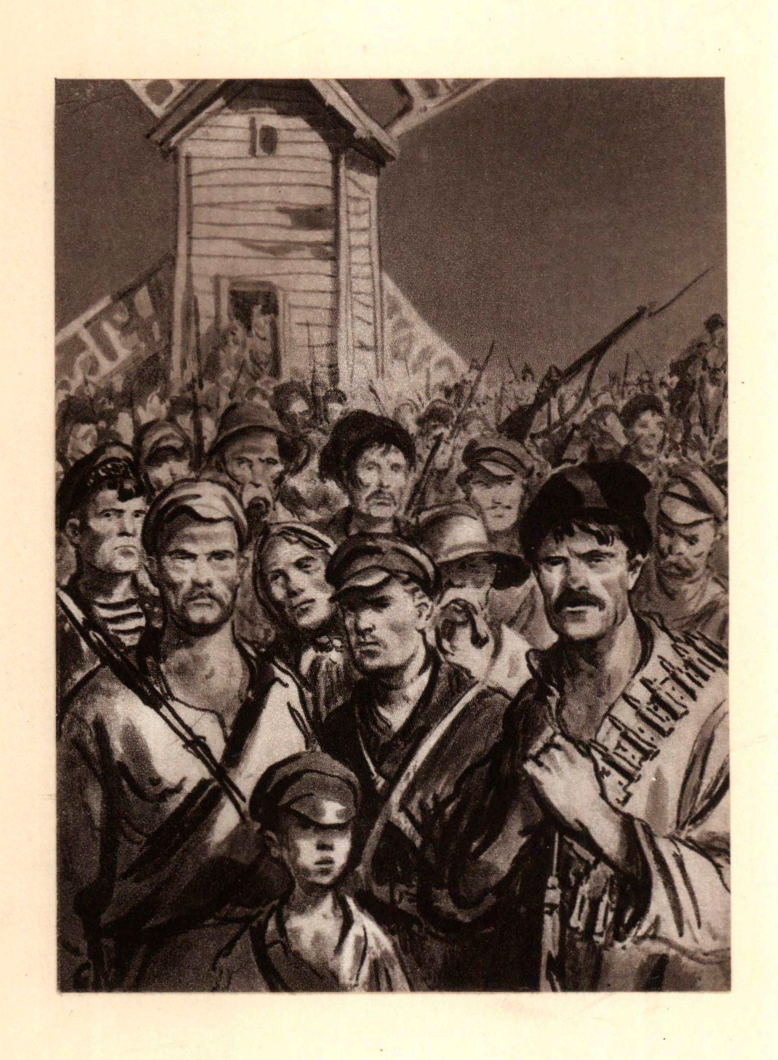
А. СЕРАФИМОВИЧ

ЖЕЛЕЗНЫЙ ПОТОК





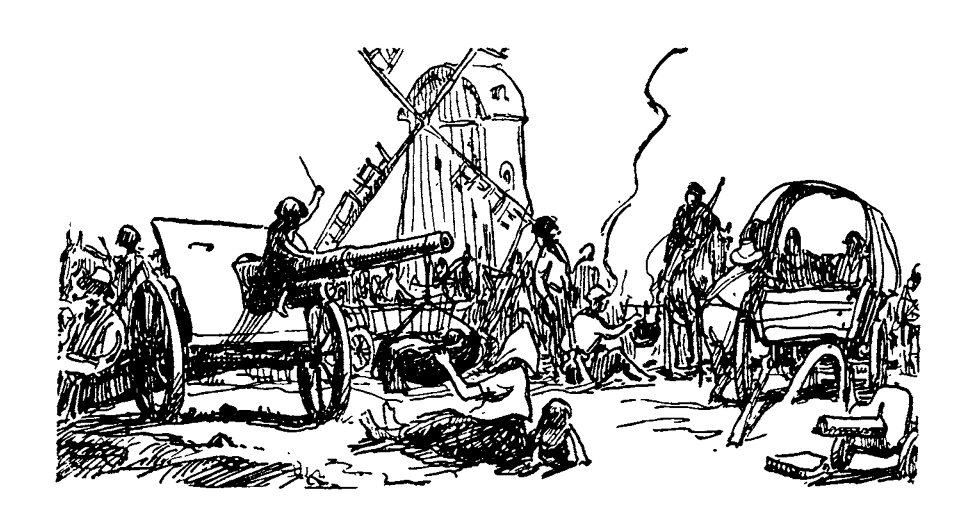
А. СЕРАФИМОВИЧ

ЖЕЛЕЗНЫЙ ПОТОК

Иллюстрации
А. КОКОРИНА



ОГИЗ
Государственное издательство
художественной литературы
1947



В неоглядно-знойных облаках пыли, задыхаясь, потонули станичные сады, улицы, хаты, плетни, и лишь остро выглядывают верхушки пирамидальных тополей.

Отовсюду многоголосо несется говор, гул, собачий лай, лошадиное ржанье, лязг железа, детский плач, густая матерная брань, бабьи переклики, охриплые забубенные песни под пьяную гармонику. Как будто громадный невиданный улей, потерявший матку, разноголосо-растерянно гудит нестройным больным гудом.

Эта безграничная горячая муть поглотила и степь до самых ветряков на кургане,—и там несмолкаемо-тысячеголосое царство.

Только пенисто-клокочущую реку холодной горной воды, что кипуче несется за станицей, не в силах покрыть удушливые облака. Вдали за рекой синеющими громадами загораживают полнеба горы.

Удивленно плавают в сверкающем зное, прислушиваясь, рыжие степные разбойники, коршуны, поворачивая кривые носы, и ничего не могут разобрать — не было еще такого.

Не то это ярмарка. Но отчего же нигде ни палаток, ни торговцев, ни наваленных товаров?

Не то — табор переселенцев. Но откуда же тут орудия, зарядные ящики, двуколки, составленные винтовки?

Не то — армия. Но почему же со всех сторон плачут дети; на винтовках сохнут пеленки; к орудиям подвешены люльки; молодайки кормят грудью; вместе с артиллерийскими лошадьми жуют сено коровы, и загорелые бабы, девки подвешивают котелки с пшеном и салом над пахуче дымящимися кизяками?

Смутно, неясно, запыленно, нестройно; перепутано гамом, шумом, невероятной разноголосицей.

В станице только каза́чки, старухи, дети. Казаков ни одного, как провалились. Казачки поглядывают в хатах в оконца на Содом и Гоморру, разлившиеся по широким, закутанным облаками пыли улицам и переулкам:

— Щоб вам повылазило!

II

Выделяясь из коровьего мычанья, горластого петушиного крика, людского говора, разносятся то обветренные, хриплые, то крепкие степные звонкие голоса:

— Товарищи, на митинг!..

— На собрание!..



— Гей, собирайся, ребята!..

— До громады!

— До витряков!

Вместе с медленно остывающим солнцем медленно садится горячая пыль, и во всю громадную вышину открываются пирамидальные тополя.

Сколько глаз хватает, проступили сады, белеют хаты, и все улицы, и все переулки от края до края заставлены повозками, арбами, двуколками, лошадьми, коровами — и в садах и за садами, до самых ветряков, что на степном кургане растопыривают во все стороны длинные перепончатые пальцы.

А вокруг ветряков с возрастающим гомоном все шире растекается людское море, неохватимо теряясь пятнами бронзовых лиц. Седобородые старики, бабы с измученными лицами, веселые глаза дивчат; ребятишки шныряют между ногами; собаки, торопливо дыша, дергают высунутыми языками,— и все это тонет в громадной, все заливающей массе солдат. Лохмато-воинственные папахи, измызганные фуражки, войлочные горские шляпы с обвисшими краями. В рваных гимнастерках, в вылинявших ситцевых рубахах, в черкесках, а иные до пояса голые, и по бронзово-мускулистому телу накрест пулеметные ленты. Нестройно, как попало, глядят во все стороны над головами темно-вороненые штыки. Потемнелые от старости ветряки с удивлением смотрят: никогда не было такого.

На кургане возле ветряков собрались полковники, батальонные, ротные, начальники штаба. Кто же эти полковники, батальонные, ротные? Есть дослужившиеся до офицера солдаты царской армии, есть парикмахеры, бондари, столяры, матросы, рыбаки из городо́в и станиц. Все это начальники маленьких красных отрядов, которые они организовали на своей улице, в своей станице, в своем хуторе, в своем поселке. Есть и кадровые офицеры, примкнувшие к революции.

Командир полка, Воробьев, с аршинными усами, косая

сажень, взобрался на заскрипевший под ним поворотный брус с колесом на конце, и его голос зычно прозвучал толпе:

— Товарищи!

Какой же он крохотный, этот голос, перед тысячами бронзовых лиц, перед тысячами устремленных глаз. Около столпился весь остальной командный состав.

— Товарищи!

— Пошел к чорту!..

— Долой!..

— К бисовой матери!..

— Ня ннадо...

— Начальник, мать вашу!..

— Али в погонах не ходил?!

— Та вин давно сризав их...

— Чего гавкаешь?..

— Бей его, разэтак их!

Неохватимое человеческое море взмыло лесом рук. Да разве можно разобрать, кто что кричал!

У ветряка стоит низкий, весь тяжело сбитый, точно из свинца, со сцепленными четырехугольными челюстями. Из-под низко срезанных бровей, как два шила, посверкивают маленькие, ничего не упускающие глазки, серые глазки. Тень от него лежит короткая — голову ей оттаптывают кругом ногами.

А с бруса усатый, надсаживаясь, зычно кричит:

— Да подождите, выслушайте!.. Надо же обсудить положение...

— Пошел к такой матери!

Шум, ругань потопили его одинокий голос.

Среди моря рук, среди моря голосов поднялась исхудалая, длинная, сожженная солнцем, горем и работой костлявая бабья рука, и замученный бабий голос заметался:

— И слухать не будемо, и не вякай, стерьво ты конячее... А-а! Корова була та дви пары быкив, та хата, та самовар — де воно всэ?

И опять исступленно забушевало над толпой,— каждый кричал свое, не слушая.

— Да я б теперь с хлебом был, коли б убрал.

— Сказывали, на Ростов надо пробиваться.

— А почему гимнастерок не выдали? Ни портянок, ни сапог?

А с бруса:

— Так зачем же вы все потянулись, ежели...

Толпу взорвало:

— Через вас же. Вы же, сволочи, завели, вы сманули! Вси дома сидели, хозяйство було, а теперь як неприкаянные по степу шаландаем.

— Знамо, завели,— густо отдались солдатские голоса, темно колыхнувшись штыками.

— Куды жа мы теперь?!

— До Екатеринодара.

— Та там кадеты.

— Никуды податься...

У ветряка стоит с железными челюстями и тоненько смотрит острыми, как шило, серыми глазками.

Тогда над толпой непоправимо проносится:

— Прода-али!

Этот голос услышался во всех концах, а которые и не расслышали, так догадались, среди повозок, колыбелей, лошадей, костров, зарядных ящиков. Судорога побежала по толпе, и стало тесно дышать. Высоко метнулся истерический бабий голос, но кричала не баба, а маленький солдатик с птичьим носом, голый до пояса, в огромных, не по нем, сапогах.

— Торгуют нашим братом, як дохлою скотиною!..

Из толпы, на целую голову выше ее, расталкивая локтями, молча к ветрякам пробирается с неотразимо красивым лицом, с едва пробивающимися черненькими усиками, в матросской шапочке, и две ленточки бьются сзади по длинной загорелой

шее. Он продирается, не спуская глаз с кучки командиров, зажимая в руках злобно сверкающую винтовку.

«Ну... шабаш!..»

Человек с железными челюстями еще больше их стянул. С тоской оглядел бушевавшее человеческое море до самых краев: черно кричащие рты, темнокрасные лица, и из-под бровей искрятся злобно кричащие глаза.

«Где жена?..»

В матросской шапочке с прыгающими ленточками был уже недалеко, все так же сжимая винтовку, не спуская глаз, как будто боялся потерять из виду, упустить, и так же расталкивая густо зажимавшую его толпу, в шуме и криках шатавшую в разные стороны.

Человеку с стянутыми челюстями особенно горько: ведь с ними плечо в плечо дрался пулеметчиком на турецком фронте. Моря крови... Тысячи смертей над головой... Последние месяцы вместе дрались против кадетов, казаков, генералов: Ейск, Темрюк, Тамань, кубанские станицы...

Он разжал челюсти и сказал железно-мягким голосом, но в шуме и гуле было всюду слышно:

— Меня, товарищи, вы знаете. Вмистях кровь проливали. Сами выбрали в командиры. А теперь, колы так будэ, все ведь пропадем. Козачьё с кадетами со всех сторон навалилось. Одного часа упускать нельзя.

Он говорил с украинским говором, и это подкупало.

— Та хиба ж ты погонов не носил?! — пронзительно закричал голый до пояса, маленький.

— Чи я их искал, погоны? Сами знаете, дрался на фронте, начальство и привесило. Разве ж я не ваш? Разве ж одинаково не нес хребтом бедность та работу, як вол?.. Не пахал с вами, не сиял?..

— Що правда, то правда, — загудело в мечущемся шуме, — наш!

Высокий, в матроске, наконец, выдрался из толпы, в два скачка очутился около и, все так же молча, не спуская глаз, изо всей силы размахнулся штыком, задев кого-то сзади прикладом. Человек с железными челюстями не сделал ни малейшей попытки отклониться, лишь судорога, похожая на улыбку, дернула мгновенно пожелтевшие, как кожа, черты.

Сбоку, нагнув, как бычок, голову, изо всей силы поддал плечом низенький, голый под локоть матросу:

— Та цю тебе!

И размахнувшийся штык, сбитый в сторону, вместо человека с стянутыми челюстями, по самую шейку вбежал в живот стоявшему рядом молоденькому батальонному. Тот шумно, точно вырвавшийся пар, выдыхнул и повалился на спину. Высокий остервенело старался выдернуть застрявшее в позвоночнике острие.

Ротный, с безусым, девичьим лицом, ухватился за крыло ветряка и покарабкался вверх. Крыло со скрипом опустилось, и он опять очутился на земле. Остальные, кроме человека с четырехугольными челюстями, вынули револьверы,— и на изуродованных бледных лицах тоска.

Из толпы к ветряку выдиралось еще несколько человек с безумно разинутыми глазами, судорожно зажимая винтовки.

— Собакам собачья смерть!

— Бей их! Не оставляй для приплоду!..



Внезапно все смолкло. Все головы повернулись, все глаза потянулись в одну сторону.

По степи, стелясь к самому жнивью, вытягиваясь в нитку, скакал вороной, а на нем седок в краснопестрой рубахе навалился грудью и головой на лошадиную гриву, спустив по обеим сторонам руки. Ближе, ближе... Видно, как изо всех сил рвется обезумевшая лошадь. Бешено отстает пыль. Хлопьями пены белоснежно занесена грудь. Потные бока взмылились. А седок, все так же уронив на гриву голову, шатается в такт скоку.

В степи опять зачернелось.

По толпе побежало:

— Другий скаче!

— Бачьте, як поспишае...

Вороной доскакал, храпя и роняя белые клочья, и сразу перед толпой осел, покатившись на задние ноги: всадник в полосато-красной рубахе, как куль, перевернулся через лошадиную голову и глухо плюхнулся о землю, раскинув руки и неестественно подогнув голову.

Одни кинулись к упавшему, другие к вздыбившейся лошади, черные бока которой были липко-красны.

— Та це Охрим! — закричали подбежавшие, бережно расправляя стынущего. На плече и груди кроваво разинулась сеченая рана, а на спине черное запекшееся пятнышко.

А уж по всей толпе, за ветряками и между повозками, по улицам и переулкам бежало непотухающей тревогой:

— Охрима порубалы козаки!..

— Ой, лишенько мени!..

— Якого Охрима?

— Тю, сказывся, не знаешь! Та с Павловской. По-над балкою хата.

Подскакал второй. Лицо, потная рубаха, руки, босые ноги, порты — все было в пятнах крови,— своей или чужой? А глаза круглые. Он спрыгнул с шатающейся лошади и бросился к лежащему, по лицу которого неотвратимо потекла прозрачно-восковая желтизна, и по глазам ползали мухи.

— Охрим!

Потом быстро стал на четвереньки, приложил ухо к залитой кровью груди и сейчас же поднялся и стоял над ним, опустив голову:

— Сынку... сыне мий!..

— Вмер,— сдержанным гулом отозвалось вокруг.

Тот опять постоял и вдруг хрипуче закричал навек простуженным голосом, который отдался у самых крайних хат, среди повозок:

— Славянская станица пиднялась, и Полтавская, и Петровская, и Стиблиевская. И зáраз поперед церкви на площади в кажной станице виселицу громадят, всих вишают подряд, тилько б до рук попался. В Стиблиевскую пришли кадеты, шашками рубают, вишают, стреляют, конями в Кубань загоняют. До иногородних нэма жалости,— стариков, старух — всих под одно. Воны кажуть, вси большевики. Старик Опанас, бахчевник, хата его противу Явдохи Перепеперечицы...

— Знаемо! — загудело коротким гулом.

— ...просил, в ногах валялся, — повисили. Оружия у них тьма. Бабы, ребятишки день и ночь копают на огородах, в садах из земли винтовки, пулеметы, тягают из скирдов цилии ящики со снарядами, с патронами,— всего наволокли с турецкого фронту, нэма ни коньца, ни краю. Орудия мают. Чисто сказылись, як пожар. Вся Кубань пылае. Нашего брата в армии дуже мучуть, так и висять по деревьях. Которые отряды отдельно в разных мистах пробиваются, хто на Екатеринодар, хто до моря, хто на Ростов, да вси ложатся пид шашками.

Опять постоял над мертвецом, сронив голову.

И в недвижимой тишине все глаза глядели на него.

Он пошатнулся, хватаясь впустую руками, потом схватил уздечку и стал садиться на все так же носившую потными боками лошадь, судорожно выворачивавшую в торопливом дыхании кровавые ноздри.

— Куды? Чи с глузду зъихав?! Павло!..

— Стой!.. Куды?! Назад!..

— Держить ёго!..

А уже топот пошел по степи, удаляясь. Во все плечо ударил плетью, и лошадь, покорно вытянув мокрую шею, прижав уши, пошла карьером. Тени ветряков косо и длинно погнались за ним через всю степь.

— Пропадэ ни за грош.

— Та у него семейства там осталась. А тут сын, вишь лежить.

С железными челюстями разжал их и, тяжело ворочая, медлительно заговорил:

— Видали?

И толпа мрачно:

— Не слепые.

— Слыхали?

Мрачно:

— Слыхали.

А железные челюсти неумолимо перемалывали:

— Нам, товарищи, теперь нэма куды податься: спереду, сзаду — всэ смерть. Энти вон, — он кивнул на порозовевшие казачьи хаты, на бесчисленные сады, на громадные тополя, от которых длинно легли косые тени, — може, сегодняшнюю ночь кинутся нас ризать, а у нас ни одного часового, ни одного дозора, некому распорядиться. Надо отступать. Куда? Прежде надо перестроить армию. Выберите начальников, но только раз, а потом они будут над жизнью и смертью вольны — дисциплина шоб железная, тогда спасение. Пробьемось к нашим главным силам, а там и из России руку подадут. Согласны?

— Согласны! — дружным взрывом охнула степь, и между повозками по улицам и переулкам, и между садов, и по всей станице до самого до края, до самой до реки.

— Так дòбре. Зараз выбирать. А потом сейчас переформиро-

вать части. Обоз отделить от строевых частей. Командиров распределить по частям.

— Согласны! — опять дружно отдалось в бескрайной, узко желтеющей степи.

В передних рядах стояла благообразная борода. Без особенных усилий густым, слегка хриповатым голосом он покрыл всех:

— Та куды мы идэмо? Чого шукаты?.. Это ж — разорение: всэ бросилы — и скотину, и хозяйство.

Будто камень кто кинул — расступилась, зашаталась, зашумела толпа, и пошло кругами:

— А тебе куды? назад? шоб перебилы всих?..

А благообразная борода:

— Зачем бить, як сами придэмо, оружие сдадим,— не звери ж воны. Вон моркушинские сдались, пятьдесят чоловик, и оружие выдалы, винтовки, патроны, козаки волоса не тронулы, и посейчас пашуть.

— Та це кулачье ж и сдалось.

Загудело, замелькало над головами, над разгоряченными лицами:

— Та ты понюхай черного кобеля пид хвост.

— Нас без слов вишать начнуть.

— Кому пахать-то пийдемо?! — закричали тонкими голосами бабы.— Опять же козакам та ахвицерам.

— Чи опять в хомут?

— Пид козачий кнут?.. пид ахвицеров та генералов!..

— Уходи, бисова душа, поки цел.

— Бей его! Свои продают...

А борода:

— Та вы послухайте... що ж лаетесь, як кобели?..

— Та и слухать нэма чого. Одно слово — хферт!

Возбужденные, красные лица оборачивались друг к другу, злобно блестели глаза, над головами мотались кулаки. Кого-то били. Кого-то гнали по шее в станицу.

— Помолчите, граждане!

— Та постойте... куды вы меня!.. Що я вам дался, чи сноп, чи що?

С железными челюстями разжал их:

— Товарищи, бросьте,— треба делом заниматься. Выбрать командующего, а уж он остальных сам назначит. Кого выбираете?

Секундно неподвижное молчание: степь и станица, и бесчисленная толпа — все замерло. Потом поднялся лес мозолистых, заскорузлых рук, и по степи до самых краев, и в станице вдоль бесконечных садов, и за рекой грянуло одно имя.

— Кожу-ха-а-а!..

И покатилось, и долго еще под самыми под синеющими горами стояло:

— ...а-а-а-а!..

Кожух сомкнул каменные челюсти, сделал под козырек, и видно было, как под скулами играли желваки. Подошел к мертвецам, снял грязную соломенную шляпу. И, как ветром, поднялись все шапки, обнажились все головы, сколько их тут ни было, а бабы всхлипнули. Кожух, опустив голову, постоял над мертвыми:



— Похороним наших товарищей со всеми почестями. Подымайте.

Разостлали две шинели. К батальонному, у которого по гимнастерке кровавилось широкое застывшее пятно, подошел высокий красавец в матросской шапочке, — по шее спускались ленточки — молча нагнулся, осторожно, точно боясь сделать больно, поднял. Подняли и Охрима. Понесли.

Толпа расступалась, потом свертывалась и текла бесконечным потоком, с обнаженными головами. И за каждым неотступно шла длинная косая тень, и идущие ее топтали.

Молодой голос запел мягко, печально:

Вы жер-тво-ю па-а-ли в борь-бе-е ро-ко-вой...

Стали присоединяться другие голоса, грубые и неумелые, невпопад, розня и перевирая слова, и нестройно и разноголосо, кто куда попало, но все шире расплывалось:

...люб-ви без-за-ве-етной к на-ро-о-ду...

Разноголосо, невпопад, но отчего же впивается тонкая печаль, которая странно вяжется в одно и с одинокой смутно задумчивой степью, и со старыми почернелыми ветряками, и с высокими, чуть тронутыми позолотой тополями, и с белыми хатами, мимо которых идут, и с бесконечными садами, мимо которых несут,— как будто здесь все родное, близкое, будто здесь родились, тут и умирать.

И засинели густою вечерней синевой горы.

Баба Горпина, та самая, которая подняла среди леса рук и свою костлявую руку, вытирает захлюстанным подолом красные глаза, мокрые, набитые пылью морщинки и шепчет, всхлипывая и неустанно крестясь:

— Святый боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас... святый боже, святый крепкий...— и горько сморкается в тот же подол.

Дружно идут солдаты, размашистым шагом, с замкнутыми лицами, насунутыми бровями, и стройно колыхаются рядами темные штыки.

...вы отда-а-ли все, что мог-ли за не-е-его...

Задремавшая на ночь пыль опять вечерне подымается ленивыми клубами, все заволакивая.

И ничего не видно, только слышен густой гул шагов, да —

...святый крепкий, святый бессмертный...
...из-ны-ва-ли... в тюрь-мах сы-рых...

Потемневшие на покой ночи траурные громады гор загораживают первые робкие звезды.

Вот и кресты. Одни упали, другие покосились. Тянутся пустыри, поросшие кустами. Мягко пролетела сова. Беззвучно забелеет мрамор, пробьется сквозь вечернюю мглу золото надписей, — памятники над богатеями-казаками, торговцами, памятники над крепкой хозяйской жизнью, над нерушимым укладом,— а над ними идут и поют:

...па-дет про-из-вол и вос-ста-нет народ...

Вырыли рядом две могилы. Тут же торопливо сколачивали смутно белевшие свежим пахучим тесом гробы. Положили покойников.

Кожух встал на свеженасыпанную землю с обнаженной головой:

— Товарищи! Я хочу сказать... погибли наши товарищи. Да... мы должны отдать им честь... они погибли за нас... Да, я хочу сказать... Да, я хочу сказать... С чого ж воны погибли?.. Товарищи, я хочу сказать, Советская Россия не погибла, она будэ стоять до скончания вика. Мы тут, товарищи, я хочу сказать, зажаты, а там — Россия, Москва, Россия возьмет свое. Товарищи, в России, я хочу сказать, рабоче-крестьянская власть... От

этого все образуется. На нас идут кадеты, то есть, я хочу сказать, генералы, помещики и всякие капиталисты, одним словом, я хочу сказать, живодеры, ссволочь! Но мы им не дадимся, мать их так, да! Мы им покажем. Товарищи, э-э... мм... я хочу сказать, засыпем наших товарищей и поклянемся на их могилах, постоим за советскую власть...

Стали опускать. Баба Горпина, зажимая рот, начала всхлипывать, тихонько, по-щенячьи повизгивая, потом заголосила; за ней другая, третья. Все кладбище заметалось бабьими голосами. И каждая старалась протолкнуться, нагнуться, черпнуть рукой земли и кинуть в могилу. Земля глухо сыпалась.

Кожуха на ухо спросили:

— Сколько патронов дать?

— Штук двенадцать.

— Жидко будет.

— Знаешь, патронов нет. Каждую штуку приходится беречь.

Рванул негустой залп, другой, третий. Мгновенно, раз за разом ярко выхватывались лица, кресты, быстро работавшие лопаты.

И когда смолкло, все вдруг почувствовали: стоит ночь, тишина, пахнет теплой пылью, и немолчный шум воды нагоняет дрему, не то смутные воспоминания — не вспомнишь о чем, а за рекой, на краю, далеко протянувшись, лежит тяжелыми изломами густая чернота гор.

III

Ночные оконца черно смотрят в темноту, и в их неподвижности зловещая затаенность.

От жестяной без стекла лампочки на табурете бежит к потолку, торопливо колеблясь, черный траур. Густо накурено. На полу фантастический ковер с бесчисленными знаками, линиями,

зелеными, синими пятнами, черными извивами — громадная карта Кавказа.

В распоясанных рубахах, босые, осторожно ползают по ней на четвереньках — командный состав. Одни курят, стараясь не уронить на карту пепел; другие, не отрываясь, все лазают по ней. Кожух со сжатыми челюстями сидит на корточках, смотрит мимо крохотными светло-колючими глазками, а на лице — свое. Все тонет в сизом табачном дыму.

В черноту окошечек, ни на секунду не смолкая, накатывается полный угрозы шум реки, который днем забывается.

Осторожно, полушопотом, хотя из этой и из соседних хат все выселены, перекидываются:

— Мы все тут пропадем: ни один боевой приказ не выполняется. Разве не видите?..

— С солдатами ничего не поделаешь.

— Так и они все подло пропадут — всех казаки изрубят.

— Гром не грянет, мужик не перекрестится.

— Какой чорт — не грянет, коли кругом пожаром все пылает.

— Ну, пойди, расскажи им.

— А я говорю — Новороссийск надо занять и там отсиживаться.

— О Новороссийске не может быть и речи,—сказал в чисто вымытой подпоясанной рубахе, гладко выбритый,— у меня донесение товарища Скорняка. Там невылазная каша: там и немцы, и турки, и меньшевики, и эсеры, и кадеты, и наш ревком. И все митингуют, без конца обсуждают, толкаются с собрания на собрание, вырабатывают тысячи планов спасения,— и все это переливание из пустого в порожнее. Ввести армию туда — значит, окончательно ее разложить.

В непотухающем шуме реки явственно отпечатался выстрел. Он был далекий, но сразу ночные оконца своей таящей неподвижностью и чернотой сказали: «Вот... начинается...»

Все внутренне напряженно вслушивались, а внешне, не выпуская папирос и отчаянно дымя, продолжали ездить пальцами по изученной до последней черточки карте.

Но, сколько ни езди, было все то же: налево, не пуская, синеет синей краской море; направо и кверху пестреет множество враждебных надписей станиц и хуторов; книзу, на юге, рыже-желтой краской загораживают дорогу непроходимые горы, — как в западне.



Огромным табором стоят вот у этой черной извивающейся по карте реки, шум которой все время вкатывается в черные окошечки. А в помеченных всюду на карте балках, в камышах, лесах, степях, в хуторах и станицах собираются казаки. До сих пор еще кое-как подавляли порознь восставшие станицы, хутора, а теперь пылает в восстании вся громада Кубани. Советская власть всюду сметена; представители ее по хуторам, по станицам изрублены, и, как кресты на кладбище, всюду густо стоят виселицы: вешают большевиков, а их больше всего среди иногородних, но есть и казаки-большевики; те и другие болтаются на виселицах. Куда же отступать? Где спасение?

— Ясно дело, на Тихорецкую пробираться, а там — на Святой Крест, а там — в Россию уйдем...

— Умная голова — Святой Крест! Как же ты до него доберешься через всю восставшую Кубань, без патронов, без снарядов?

— А я говорю, к главным силам пробиваться...

— Да где они, главные-то силы? Ты эстафету получил, что ли? Так скажи нам.

— Я говорю, Новороссийск занять и отсиживаться, пока из России не подойдет помощь.

Они говорят, а за словами у каждого стоит:

«Если б мне поручили все дело, я бы отличный план составил и всех бы спас...»

Снова зловеще, покрывая ночной шум реки, раздался далекий выстрел; немного погодя сдвоило, потом еще раз, да вдруг посыпало из решета — и смолкло.

Все повернули головы к неподвижно-черным оконцам.

Не то за стенкой очень близко, не то на чердаке заорал петух.

— Товарищ Приходько,— разжал челюсти Кожух,— пойдите, узнайте там.

Молодой невысокий кубанский казак, с красивым, слегка прихваченным оспой лицом, в тонко перетянутом бешмете, вышел, осторожно ступая босыми ногами.

— А я говорю...

— Извините, товарищ, совершенно недопустимо, — перебивает гладко выбритый, спокойно стоя и глядя на них сверху: все это — выбившиеся на войне в офицеры солдаты из крестьян, либо бондари, столяры, парикмахеры, а он — с военным образованием и давнишний революционер.— Совершенно недопустимо вести армию в таком состоянии, это значит — погубить ее: не армия, а митингующий сброд. Необходимо реорганизовать. Кроме того, десятки тысяч беженских повозок совершенно связывают по рукам и ногам. Их необходимо оторвать от армии — пусть идут, куда хотят, или возвращаются домой; армия должна быть совершенно свободна и не связана. Пишите приказ: «Остаемся в станице на два дня для реорганизации...»

Он говорил, и слова заслоняли ход и язык мысли:

«У меня широкие знания, соединение теории с практикой, глубоко историческое изучение военного дела,— почему же он, а не я? Толпа слепа, и всегда толпа...»

— Чого ж вы захотели?— голосом ржавого железа заговорил Кожух.— У кажного солдата в обозе мать, отец, невеста, семейство,— та разве ж он покинет их? Коли будемо сидеть тут, дождемся — вырежут до одного. Иттить надо, иттить и иттить! На ходу переформируемся. Надо скорее мимо города, не останавливаться, а иттить берегом моря. Дойдем до Туапсе, там по шоссе перевалим через главный хребет и соединимся с главными силами. Они далеко не ушли. А тут кажный день смерть обступает.

Тогда все разом заговорили, и у каждого был отличный для него и никуда не годный для других проект.

Кожух поднялся, заиграл железными желваками и, тоненько покалывая крохотными глазками отлива серой стали, сказал:

— Завтра выступать... с рассветом.

И подумал: «Не выполнят, сволочи!..»

Все нехотя замолчали, и за этим молчанием стояло:

«Дураку закон не писан».

IV

Когда Приходько вышел, шум воды вырос, наполняя всю темноту. У дверей на черной земле темный и низкий пулемет. Возле две темные фигуры с темными штыками.

Приходько идет, присматриваясь. Небо сплошь загорожено теплыми невидимыми тучами. Далеко собаки лают в разных концах, упорно, безустали, на разные голоса. Замолчат, послушают: шумит река, и опять — упорно, надоедливо.

Смутно белеющими пятнами проступают неугадываемые хаты. На улице черно наворочено; присмотришься —повозки; густо несется храп и заливистое сонное дыхание и из-под повозок и с повозок — везде навалены люди. Высоко чернеет посреди улицы: тополь — не тополь и не колокольня; присмотришься — оглобля поднята. Мерно и звучно жуют лошади, вздыхают коровы.

Алексей осторожно шагает через людей, освещая на секунду папиросой. Мирно и тихо, а чего-то ждешь, далекого выстрела, что ли, и чтоб опять сдвоило.



— Хто идет?

— Свой.

— Хто идет... тудды тебе!

Слабо различимые, легли на руки два штыка.

— Командир роты, — и, нагнувшись, шопотом: — «Лафет».

— Верно.

— Отзыв?

Солдат, щекотно влезая жесткими усами в ухо, хриповато шепчет:

— «Коновязь», — и из-под усов густо расплывается винный дух.

Он идет, и опять черно-неразличимые повозки, звучно жующие лошади, сонное дыхание, ни на минуту не прерывающийся шум воды, упорный, надсадистый собачий лай. Осторожно переступает через руки, ноги. Кое-где под повозками незаснувший говорок — солдаты с женами; а под плетнями — тайный смех, задавленные взвизги — с любезными.

«Спохватились-таки, да и то пьяные, канальи. Все вино у казаков, небось, вылакали. Да это что ж: пей, да ума не пропивай... Как это казаки не вырезали нас до сих пор? Дурачье!»

Забелелось... не то узкая хата, не то блеснул в темноте белизной холст.

«Да и сейчас не поздно: на брата с десяток патронов наберется, нет ли, на орудие десятка полтора снарядов, а у них всего...»

Белое шевельнулось.

— Ты, Анка?

— А ты чего по ночам блукаешь?

Темная, должно быть вороная, лошадь жует наваленное в оглоблях сено... Он стал свертывать другую папиросу. Она, держась за повозку, почесала босую ногу о ногу. Под повозкой разостланная полсть, и слышится здоровенный храп — отец спит.

— Долго мы будем проклаждаться?

— Скоро,— и пыхнул папиросой.

Озаренно проступил кусок его носа, коричнево-табачные концы пальцев, искорки в глазах девушки, крепко выбегающая из белой рубахи шея, монисто, потом опять — мгновенная тьма, уродливые очертания повозок; коровы вздыхают, жуют лошади, и шумит река. Отчего не слыхать выстрела?

«Взять да жениться на ней...»

И сейчас же, как это всегда бывало, проступает тоненькая, как стебелек, шейка незнакомой девушки, голубые глаза, нежное голубовато-сквозное платье... Гимназию кончила... И даже

не жена, а невеста... девушка, которую он никогда не видал, но которая где-то есть.

— Я, если козаки до нас приступят, заколюсь.

Она полезла за пазуху, вытащила оттуда тускло поблескивавшее.

— Во-острый... попробуй.

Ти-ли-ли-ли...

Странный ночной удаляющийся голос, тонко хватающий за душу, только не детский плач: должно быть, филин.

— Ну, надо уходить, нечего тут валандаться...

И никак не отдерет ног, приросли. И, чтобы отодрать их, думает: «Как корова, почесалась ногой за ухом...»

Но это не помогает, и он стоит, затягивается,—и опять мгновенно из тьмы кусок носа, пальцы, крепкая девичья шея с ямочкой, монисто и молодая грудь, облитая белой с вышивкой рубахой... снова тьма, шум реки, людское дыхание.

Лицо близко около ее глаз. Иглы, кольнув, разбежались, он берет за локоть.

— Анка!

От него пахнет табаком, молодым, здоровым телом.

— Анка, пойдем до садов, посидим...

Она уперлась обеими руками ему в грудь, рванулась так, что он пошатнулся, наступая сзади кому-то на ноги, на руки. Белое торопливо мелькнуло в заскрипевшую повозку, покатился подмывающий смешок, и угомонилось; а баба Горпина подняла голову с подушки, села в повозке и отчаянно заскреблась.

— У-у, полуношница!.. И коли тоби угомон возьме? Хтось такий?

— Я, бабо.

— А-а, Алешенька. Це ты? Не спизнала. Що таке буде, солодкий мий? Ой, горя-несчастя выпьемо. Чуе мое сердце. Як выизжалы, перше кошка дорогу перебигла, така здорова та брюхата, а писля того — заяц як стрикане, боже ж ты мий

милосердный. Що ж таке балшавики думають: усе добро оставили. Як замуж мене за старика отдавалы, мамо и каже: от тоби самовар, береги его, як свой глаз; будешь помирать, шоб дитям твоим и внукам. Як Анку буду выдавать, ей отдам. А теперь усе бросилы, худобу усю бросилы. Що балшавики думають? И що буде совитска власть робиты? Та нэхай ция власть подохне, як пропадэ мий самовар! На три дня, казалы, выизжайте, через три дня усе на место стане, а от уж цилу недилю блукаем, як неприкаянные. Яка ж вона совитска власть, як не може ничого для нас робиты? Кобелю власть. Геть козаки пиднялись, як оглашеннии. Жалко наших, Охрима, тай того... молоденький такий. О, боже ж мий милий!..

Баба Горпина все скребет себя, и, когда замолчала, забывшаяся река напомнила о себе: шумит, наполняя всю громаду ночи.

— Э-э, бабо, що скулить,— с того добра нэ будэ.

Опять пыхнул папиросой, думая о своем: не то с ротой остаться, не то при штабе. Где же и когда встретит голубые глаза, тоненькую шейку?

Но баба уж не угомонится. Как тень, за нею долгая жизнь,— трудно. Два сына на турецком фронте легли: два тут в армии под ружьем. Старик под повозкой храпит, а эта сорока тыхесенько притулилась, должно, спит, да разве ее узнаешь? Ой, трудно! Жилы все повытягала за свою долгую жизнь — шестой десяток пошел. И старик, и сыновья — хребтина трещала от работы. А на кого работали? На казаков та на ихних генералов, ахвицеров. У них вся земля, а иногородний, как собака... Ой, лишенько! Так и работали, глядя в землю, як быки. Утром, вечером, каждый день царя в молитвах поминала, — родителей, потом царя, потом детей, потом всех православных христиан. А он — не царь, а кобель серый, его и спихнули. Ой, лишенько, аж поджилки затряслись, страшно стало, как услыхала, что царя спихнули. А потом так и надо — кобель и кобель.

— Блох ноньче сила.

И баба опять зачухалась. Потом глянула в темноту,— шумит река,— перекрестилась:

— Должно, утро скоро.

Прилегла, да не спится, вся жизнь стоит, как тень над человеком, и никуда не уйдешь,— стоит, молчит, как нету ее, а сама вся тут...

— Балшавики в бога не верють. Шо ж, мабуть знають, свое делають: пришлы, усе сразу як поваляли. Ахвицера, помещики утеклы швидко. От козаки и озверинилысь... Дай им, господи, здоровья, даром шо в бога не верють. Опять же свои, не басурманы... Як бы пораньше объявились, не було б цией проклятой войны, живы були б мои сыночки. У Туретчине сплять... И откуда ции балшавики взялысь? Кажуть, у Москви народилысь, а которы кажуть, у Германии,— германский царь породил та на Россию наслав. А воны, як приихалы, в одно горло: землю и землю людям, щоб над той землей робилы на себе, а не на козаков. Хорошии чоловики, тильки чого воны мий само... спл... сплять... сы... сыно... доб... добра... кошка... ди... ты...

Задремала старая, уронила голову,—должно быть, заря скоро.

У каждого свое. Под повозкой, придвинутой к самому плетню, как будто горлинка воркует. И откуда бы горлинке ночью ворковать под повозкой у плетня, ворковать и делать гулюшки и пускать пузыри маленьким ротиком? «Вввв-ва» и «уа-вва-ва...» Но, должно быть, кому-то это сладко, и милый грудной материнский молодой голос тоже воркует:

— Та шо ж ты, мое квиточко, мий цвиточек? Та покушай ще. Ну нá, нá! Та шо ж ты нэ берэшь? От як мы умием — головой верть, та языком геть мамкину сиську.

И она смеется таким заразительно-счастливым смехом, что кругом посветлело. Не видать, но, наверное, черные брови и мутные серебряные серьги в маленьких ушах.

— Не хочешь? Що ж ты, мое шишечко? Ой, який сердитый! Як мамкину сиську тискае рученятками. А ноготки, як бумаги папиросна... Дай поцелую кажный пальчик: раз! та ще два! та три!. О-о, яки велики пузыри пускае! Великий чоловик будэ. А мамка будэ старѐнька тай беззуба, а сын скаже: ну, старà, садись до стола, буду тебе кашей тай саламатой годуваты. Степан, Степан, та що ж ты спишь? Та проснись, сын гуляе...

— Постой!.. фу-у... не трожь, пусти... спать хóчу...

— Та, Степане, проснись же, сын гуляе. Який же ты неповоротливый! От я тоби сына кладу. Таскай его, сынку, за нос та за губу, от так! от так!.. Батько твий не нагуляв бороды соби и усив, так ты ёго за губу, за губу таскай.

А в темноте сначала заспанный, а потом такой же радостно-улыбающийся голос:

— Ну, ложись, ложись, сынку, до мене, нечего тоби с бабой возиться, будемо мужыковаты. Зараз на войну пидемо, а там работаты с тобой у паре будемо, землю годуваты... Э-э, та, що ж ты пид мене моря пущаешь?

А мать смеется неизъяснимо радостным, звенящим смехом.

Приходько идет, осторожно шагая через ноги, дышла, хомуты, мешки, временами освещая папиросой.

Уже все замолкло. Всюду темно. И даже под повозкой у плетня тихо. Собаки молчат. Только река шумит, но и ее шум присмирел, куда-то отодвинулся, и громадный сон мерным дыханием покрывает десятки тысяч людей.

Приходько шагает, уже не ждет вздваивающихся выстрелов; слипаются глаза; чуть начинают угадываться неровные края гор.

«А ведь на самой на заре и нападают...»

Пошел, доложил Кожуху, потом разыскал в темноте повозку, влез, и она заскрипела и закачалась. Хотел думать... о чем, бишь?! Завел слипающиеся глаза и стал сладко засыпать.

V

Звон железа, лязг, треск, крики... Та-та-та-та...

— Куды?! куды?! постой!..

Что это пылает во все небо: пожар или заря?

— Первая рота, бего-ом!

Черные полчища грачей без конца мелькают по красному небу с оглушительным криком.



Всюду в предрассветной серости надеваются хомуты, вскидываются дуги. Беженцы, обозные, роняя оглобли, задевают друг друга, неистово ругаются...

...бум! бум!..

...лихорадочно запрягают, цепляются осями, секут лошадей, и с треском, с гибелью, с отлетающими колесами безумно несутся по мосту, поминутно закупоривая.

...тра-та-та-та... бумм... бумм!.. Утки несутся в степь на кормежку. Отчаянно голосят бабы...

...тра-та-та-та...

Артиллеристы лихорадочно прихватывают к валькам постромки.

С выпученными глазами, в одной коротенькой гимнастерке, без штанов, мелькает волосатыми ногами солдатик, волоча две винтовки, и кричит:

— Иде наша рота?.. иде наша рота?

А за ним, истошно голося, простоволосая расхристанная баба:

— Василь!.. та Василь!.. та Василь!..

Та-та-трррa-та-та!.. бумм!.. бумм!..

Вон уже началось: в конце станицы над хатами, над деревьями быстро поднимаются клубящимися громадами столбы дыма. Ревет скотина.

Да разве кончилась ночь? Разве только что не была разлита темнота, и сонное дыхание десятков тысяч, и неумирающий шум реки, и разве не лежали на краю невидимой чернотой горы?

А теперь они не черные и не голубые, а розовые. И, заслоняя их, заслоняя померкший шум реки, грохот, треск, скрип подымающихся обозов, раскатывается, наполняя холодком сжимающееся сердце: ррр... трра-та-та-та...

Но все это кажется маленьким, ничтожным, когда из расколотого воздуха вываливается сотрясающий грохот: бба-бах!!.

Кожух сидит перед хатой. Лицо спокойно-желтое,— как будто кто-то собирается уезжать по железной дороге, и все суетятся, спешат; а вот уйдет поезд, и опять все будет тихо, спокойно, обыкновенно. Поминутно к нему прибегают или скачут на взмыленной лошади с донесениями. Около наготове адъютант и ординарцы.

Выше подымается солнце, нестерпимо раскатывается ружейная и пулеметная трескотня.

А у него на все донесения одно:

— Берегти патроны, берегти, як свой глаз; расходовать только в самом крайнем случае. Подпускать близко, и в атаку. Не допускать до садов, до садов не допускать! Возьмите две роты из первого полка, отбейте ветряки, поставьте пулеметы.

К нему со всех сторон бегут с тревожными донесениями, а он все такой же спокойно-желтый, лишь желваки перекатываются на щеках, и кто-то, сидя внутри, весело приговаривает: «Дòбре, хлопьята, дòбре!..» Может быть, через час, через полчаса казаки ворвутся и будут всех наповал рубить! Да, он это знает, но он и видит, как послушно и гибко рота за ротой, батальон за батальоном выполняют приказания, как яростно дерутся те батальоны и роты, которые еще вчера анархически орали песни, в грош не ставили и командиров и его и лишь пили да возились с бабами; видит, как точно приводят в исполнение все его распоряжения командиры, те самые командиры, которые еще этой ночью так дружно презрительно помыкали им.

Привели солдата, захваченного и отпущенного казаками. У него отрезаны нос, уши, язык, обрублены пальцы, и на груди его же кровью написано: «С вами со всеми то же будет, мать вашу...»

«Дòбре, хлопьята, дòбре...»

Яростно наседают казаки.

Но когда прибежали из тыла и, задыхаясь, сказали: «Там, перед мостом, идет бой»... — он пожелтел, как лимон, — идет бой промеж обозных и беженцев... — Кожух бросился туда.

Перед мостом — свалка: рубят топорами друг у друга колеса, возят друг дружку кнутами, кольями... Рев, крик, бабий смертный вой, детский визг... На мосту громадный затор, сцепившиеся осями повозки, запутавшиеся в постромках, храпящие лошади, зажатые люди, в ужасе орущие дети. Тра-та-та... — из-за садов... Ни взад, ни вперед.

— Сто-ой... стой! — хрипучим, с железным лязгом голосом ревел Кожух, но и сам себя не слышал. Выстрелил в ухо ближайшей лошади.

На него кинулись с кольями.

— Га-а, бисова душа! Животину портить!.. Бей его!!.

Кожух с адъютантом, с двумя солдатами отступал, прижатый к реке, а над ними гудели колья.

— Пулемет...— прохрипел Кожух.

Адъютант, как вьюн, скользнул под повозки, под лошадиные пуза. Через минуту подкатили пулемет, и прибежал взвод солдат.

Мужики заревели, как раненые быки:

— Бей их, христопродавцев! — и стали кольями выбивать винтовки из рук.

Солдаты отбивались прикладами — не стрелять же в отцов, матерей и жен.

Кожух прыгнул, как дикий кот, к пулемету, заложил ленгу и: та-та-та... веером поверх голов, и ветер смерти с пением зашевелил волосы. Мужики отхлынули. А по-за садами попрежнему: та-та-та...

Кожух перестал стрелять и, надсаживаясь, стал выкрикивать трехэтажные матерные ругательства. Это сразу успокоило. Приказал повозки на мосту, которые нельзя было расцепить, скинуть в реку. Мужики повиновались. Мост расчистили. Перед мостом стал взвод с винтовками на руку, а адъютант стал пропускать по очереди.

Повозки неслись вскачь через мост по три в ряд; бежали, мотая рогами, привязанные коровы; отчаянно визжа и натягивая веревки, карьером неслись свиньи, и грохотал настил моста, прыгали доски, как клавиши, и в грохоте тонул шум реки.

Солнце все выше. Расплавленным блеском нестерпимо играет вода.

За рекой широчайшей полосой несутся обозы, теряясь в облаках пыли, все больше и больше пустеют площади, переулки, вся станица.

Огромной, поминутно вспыхивающей выстрелами дугой охватили казаки станицу, упираясь концами в реку. Все уже дуга, все теснее в ней станице, садам, обозам, которые непрерывно

сыплются через мост. Бьются солдаты, отстаивают каждую пядь, бьются за своих детей, отцов, матерей, берегут каждый патрон, редко стреляют, но каждый выстрел родит казачьих сирот, слезы и плач в казачьих семьях.

Остервенело наваливаются казаки, близко, совсем близко мелькает их цепь, уже заняли окраину садов, мелькают из-за деревьев, из-за плетней, из-за кустов. Залегли шагов с десяток между цепями. Стихло,— берегут солдаты патроны: караулят друг друга. Крутят носами: чуют — несет из казачьей цепи густым сивушным перегаром. Завистливо тянут раздувшиеся ноздри:

— Нажрались, собаки... Эх, кабы достать!..

И вдруг не то возбужденно-радостный, не то по-звериному злобный голос из казачьей цепи:

— Бачь! та це ж ты, Хвомка!! Ах, ты, ммать ттвою крый, боже!..

И сейчас же из-за дерева воззрился говяжьими глазами молодой гололицый казачишка, весь вылез, хоть стреляй в него.

А из солдатской цепи также весь вылез такой же гололицый Хвомка:

— Це ты, Ванька?! Ах, ты, ммать твою, байстрюк скаженний!..

Из одной станицы, с одной улицы, и хаты рядом под громадными вербами. А утром, как скотину гнать, матери сойдутся у плетня и калякают. Давно ли мальчишками носились вместе верхами на хворостинках, ловили раков в сверкающей Кубани, без конца купались. Давно ли вместе спивалы с дивчатами ридны украински писни, вместе шли на службу, вместе, окруженные рвущимися в дыму осколками, смертельно бились с турками.

А теперь?

А теперь казачишка закричал:

— Шо ж ты тут робишь, лахудра вонюча?! Спизнался с проклятущими балшевиками, бандит голопузый?!

— Хто?! Я бандит?! А ты що ж, куркуль поганый... Батько твий мало драл с народу шкуру с живово и с мертвово... И ты такий же павук!..

— Хто?! Я — павук?! Ось тоби!! — откинул винтовку, размахнулся — рраз!!



Сразу у Хвомки нос стал с здоровую грушу. Размахнулся Хвомка — разз!

— На, собака!

Окривел казак.

Ухватили друг дружку за душу — и ну молотить!

Заревели быками казаки, кинулись с говяжьими глазами в кулаки, и весь сад задохся сивушным духом. Точно охваченные заразой, выскочили солдаты, и пошли работать кулаками, о винтовках помину нет,— как не было их.

Ох, и дрались же!.. В морду, в переносье, в кадык, в челюсть, с выдохом, с хрустом, с гаком, и нестерпимый неслыханный дотоле матерный рев над ворочавшейся живой кучей.

Казачьи офицеры, командиры солдат, надрываясь от хриплого мата, бегали с револьверами, тщетно стараясь разделить и заставить взяться за оружие, не смея стрелять,— на громадном расстоянии ворочался невиданный человеческий клубок своих и чужих, и несло нестерпимым сивушным перегаром.

— А-а, сволочи!.. — кричали солдаты. — Нажрались, так вам море по колено... мать, мать, мать!..

— Хиба ж вам, свиньям, цию святую воду травить... мать, мать, мать!..— кричали казаки.

И опять кидались. Исступленно зажимали в горячих объятиях—носы раздавливали, и опять без конца били кулаками, куда и как попало. Дикая, остервенелая ненависть не позволяла ничего иметь между собой и врагом, хотелось мять, душить, жать, чувствовать непосредственно под ударом своего кулака хлюпающую кровью морду врага, и все покрывала густая — не продыхнешь — матерная ругань и такой же густой, непереносный водочный дух.

Час, другой... все — исступленный мордобой, все — исступленный матерный рев. Никто не заметил — стало темно.

Два солдата долго в темноте старательно лупили друг друга, кряхтя, матюкая, да на минутку оторвались, всмотрелись друг в друга.

— Це ты, Опанас?! Та що ж ты, мать твою в душу, лупишь мене, як сноп на току!

— Ты, Миколка? А я думав — козак. Шо ж ты, утроба поганая, усю морду мени расковыряв, що я тоби сдався, чи казенный, чи що?

Отирая кровавые лица, переругиваясь, медленно отходят в цепь и в темноте ищут свои винтовки.

А рядом два казака, долго крякая, возили друг друга кулаками, по очереди сидели друг на друге верхом, потом вгляделись.

— Та що ж ты на меня ездишь, туды и растуды тебе, як на старом мерине?!

— Це ты, ты, Гараська?! Та що ж ты не кричав? Тильки матюкается, як скаженний, а я думав солдат.

И, вытирая кровь, пошли в казачий тыл. Смолкла, наконец, подлая матерная ругань, и стало слышно: шумит река, да бесконечно барабанит досками мост — нескончаемо катятся обозы, да чуть багрово шевелятся края черных туч от догорающего пожара. Вдоль садов залегла цепь солдат, а кругом в степи — казачья цепь. Молчали, перевязывая вспухшие, в фонарях рожи. Все тарахтит мост, шумит река. Перед самым утром станицу очистили. Последний эскадрон перешел, стуча по настилу, и мост запылал, а вслед уходящим со всей станицы посыпались залпы, затрещали пулеметы.

VI

По станичным улицам идут с песнями, мотая длиннополыми перетянутыми черкесками, казаки, пластунские батальоны; на лохматых черных папахах белеют ленточки. А лица изукрашены: у одного глаз сине-багрово заплыл; у другого вместо носа кровавый бугор; вздулась щека; как подушки, губошлепые губы,— ни одного казака, чтоб у него не глядели с лица самые густые фонари.

Но идут весело, густо, и над вздымающейся взрывами из-под ног пылью — рубленым железом марш в такт дружно отдающемуся в земле шагу:

Як не всхо-ти-лы,
за-бун-то-ва-лы...

густо, сильно отдаваясь в садах, за садами, в степи, над станицей:

...тай у-те-ря-лы Вкра-и-ину.

Казàчки встречают, высматривают каждая своего,— бросается радостно или вдруг заломит руки, заголосит, покрывая песни, а старая мать забьется, вырывая седые волосы, и понесут ее дюжие руки в хату.

...за-бун-то-ва-лы...

Бегут казачàта... Сколько их! И откуда только они повылезли, ведь не видать было все время; бегут и кричат:

— Батько!.. батько!..

— Дядько Микола!.. дядько Микола!..

— А у нас красные бычка зъилы.

— А я одному с самострела глаз вышиб,— он пьяный в саду спал.

На месте прежнего по улицам, по переулкам раскинулся другой и, видно, свой лагерь. Уже задымились по всем дворам летние кухоньки. Суетятся казачки. Пригнали откуда-то из степи спрятанных коров; привезли птицу; идет и варево и жарево.

А на реке жаркая своя работа — в обгонку стучат топоры, заглушая даже шум реки, летит во все стороны, сверкая на солнце, белая щепа, — рвутся казаки, наводят мост вместо сгоревшего, чтоб поспеть нагнать врага.

А в станице — свое. Идет формирование новых казачьих частей. Офицеры с записными книжками. Прямо на улице за столами писаря составляют списки. Идет перекличка.

Казаки поглядывают на похаживающих офицеров, — поблескивают на солнце погоны. А давно ли, каких-нибудь шесть-семь месяцев назад, было совсем другое: на площадях, на станичных улицах, по переулкам кровавым мясом валялись вот такие же офицеры с сорванными погонами. А по хуторам, в степях, по балкам ловили прятавшихся, привозили в станицу, беспощадно били, вешали, и они висели по нескольку дней, чтоб воронье растаскивало.

И началось это около году назад, когда на турецкий фронт докатился пожар, полыхавший в России.

Кто такое?! Что такое?..

Ничего неизвестно. Только объявились неведомые большевики, и — точно у всех с глаз бельма слизнуло — вдруг все увидели то, что века не видали, но века чувствовали: офицерье, генералитет, заседателей, атаманов, великую чиновную рать и нестерпимую военную службу, дотла разорявшую. Каждый казак должен был на свой счет справлять сыновей на службу, а три-четыре сына — каждому купить лошадь, седло, обмундирование, оружие, — вот и разорился двор. Мужик же приходит на призыв голый, все дадут, оденут с головы до ног. И казацкая масса постепенно беднела, разорялась и расслоялась; слой богатого казачества всплывал, креп, обрастал, остальные понемногу тонули.

Нестерпимо, ослепительно глядит крохотное солнце на весь развернувшийся под ним край. Марево трепещет знойным трепетанием.

А люди говорят:

— Та нэма ж найкращего як наш край.

Слепящий блеск играет в плоскодонном море. Чуть приметно набегают стекловидные зеленые морщины, лениво моют прибрежные пески. Рыба кишмя кишит.

Рядом другое море — бездонно-голубое, и до дна, до самого дна отражается опрокинутая синева. Бесчисленно дробится нестерпимое сверкание — больно смотреть. Далеко по голубому дымят пароходы, черно протянув тающие хвосты, — за хлебом идут, гроши везут.

А от моря густо-синею громадой громоздятся горы; верхи завалены первозданными снегами, глубоко залегли в них голубые морщины.

В бесконечных горных лесах, в ущельях, в низинах и долинах, на плоскогорьях и по хребтам — всякой птицы, всякого зверя, даже такого, которого уже нигде не сыщешь во всем свете, — зубр.

В утробе диких громад, размытых, загроможденных, навороченных, — и медь, и серебро, и цинк и свинец, и ртуть, и графит, и цемент, и чего-чего только нет, — а нефть, как черная кровь, сочится по всем трещинам, и в ручьях, в реках тонко играют радугой расплывающиеся маслянистые пленки и пахнут керосином...

Найкращий край...

А от гор, а от морей потянулись степи, потянулись степи и потеряли границы и пределы.

«Та нэма ж им конца, и краю нэма!..»

Безгранично лоснится пшеница, зеленеют покосы, либо без конца шуршат камыши над болотами. Белыми пятнами белеют станицы, хутора, села в неоглядной густоте садов, и остро вознеслись над ними в горячее небо пирамидальные тополя, а на знойно трепещущих курганах растопырили крылья серые ветряки.

По степи сереют отары неподвижно уткнувшихся друг в друга овец; густо колышется над ними с гудением миллионнокишащее царство оводов, мошкары, комаров.

Лениво по колено отражается в зеркале степных вод красный скот. Тянутся к балкам, мотая головами, лошадиные косяки.

А над всем — изнеможенно-звенящий, неумирающий зной.

На бегущих по дороге в запряжке лошадях соломенные шляпы — иначе падают от смертельно-пристального взгляда крохотного солнца. И люди, неосторожно обнажившие голову, пораженные, с внезапно побагровевшим лицом, валятся на обжигающую пыль дороги, стеклеют глаза... Тонко звенящий, всюду трепещущий зной.

Когда запряженный тремя, четырьмя парами круторогих быков тяжелый плуг режет в бескрайной степи борозду, отбеленный лемех отваливает такую жирную, маслянистую землю, что не земля, а намазал бы, как черное масло, да ел. И сколько вглубь ни забирай тяжелым плугом, как ни взрезывай отбеленным лемехом, — все равно до мертвой глины не доберешься, все равно сияющая сталь отворачивает нетронутые, девственные, единственные в мире пласты — чернозем — местами до сажени.

И какая же сила, какая же нечеловечески родящая сила! Заткнет в землю, балуясь, мальчишка валяющуюся жердь — глядь, побеги выбросила, глядь, уже дерево шатром ветки раскинуло. А виноград, арбузы, дыни, груши, абрикосы, помидоры, баклажаны, — да разве перечесть! И все — громадное, невиданное, противоестественное.

Заклубятся облака в горах, поползут над степями, польют дожди, напьется жадная земля, а потом начинает работать безумное солнце — и засыпается страна невиданным урожаем.

— Та нэма ж края найкращего, як цей край!

Кто же хозяева этого чудесного края?

Кубанские казаки — хозяева этого чудесного края. И есть у них работники, народ-работник, и столько же его, сколько самих казаков; и так же поют украинские песни и говорят родным украинским языком.

Братья родные два народа, — и те и другие пришли с милой Украины.

Не пришли казаки — пригнала их царица Катька полтораста лет назад; разрушила вольную Запорожскую Сечь и пригнала сюда; пожаловала им этот дикий тогда, страшный край. От ее пожалования плакали запорожцы кровавыми слезами, тоскуя по Украине. Повылезали из болот, из камышей скрюченные пожелтевшие лихорадки, впились в казаков, не щадили ни старого, ни малого, много выпили народу. В острые кинжалы да в меткие

пули приняли невольных пришельцев хищные черкесы, — кровавыми слезами плакали запорожские казаки, поминали родную Сечь и день и ночь бились с желтыми лихорадками, с черкесами, с дикой землей, — нечем было поднять ее вековых, не тронутых человеком залежей.

А теперь... теперь:

— Та нэма ж края найкращего, як наш край!

А теперь все зарятся на этот край, как чаша переполненный невиданными богатствами. Потянулись, гонимые нуждой, из Харьковской губернии, из Полтавской, из Екатеринославской, с Киевщины, потянулись голь и беднота со скарбом, с детьми, расселились по станицам и щелкают, как голодные волки, зубами на чудесную землю.



— На-кось! съешь фигу, — землю захотели!

И стали батраками переселенцы у казаков, дали им имя „иногородние“. Всячески теснили их казаки, не пускали их детей в казацкие народные школы, драли с них по две шкуры за каждую пядь земли под их хатами, садами, за аренду земли, взвалили на них все станичные расходы и с глубоким презрением называли их: «бисовы души», «чига гостропуза», «хамсел» (то есть хамом сел на казацкую землю).

А иногородние, упорные, как железо, без своей земли поневоле бросающиеся на всякие ремесла, на промышленную деятельность, изворотливые, тянущиеся к знанию, к культуре, к школе, — платят казакам тою же монетою: «куркуль», «каклук» (кулак), «пугач»... Так горит взаимная ненависть и презрение,

а царское правительство, генералы, офицеры, помещики радостно раздувают эту звериную вражду.

Прекрасный край, дымящийся, как горькой желчью, едкой злобой, ненавистью и презрением.

Но не все казаки, не все иногородние так относятся друг к другу. Выбившиеся из нищеты, выбившиеся из нужды сметкой, упорством, железным трудом — иногородние в почете у богатых казаков. Держат они мельницы на откупу, много держат казацкой земли в аренде, держат батраков из своей же, иногородней, бедноты, и лежат у них в банках деньги, ведут торговлю хлебом. Уважают их те казаки, у которых дома под железными крышами и амбары ломятся от хлеба, — ворон ворону глаз не выклюет.

Отчего это с гиком и посвистом скачут по улицам казаки в черкесках, заломив папахи, скачут взад и вперед, раскидывая лошадиными копытами глубокую мартовскую грязь, и блестят выстрелы в весеннее синее небо? Праздник, что ли? И колокола, надрываясь, мечут веселый синий звон по станицам, по хуторам, по селам. А люди в праздничной одежде, и казаки, и иногородние, и девчата, и подростки, и седые старики, и старухи с завалившимся ртом — все, все на весенних праздничных улицах.

Уж не пасха ли? Да нет же, не поповский праздник! Человечий праздник, первый праздник за века. За века, сколько земля стоит, первый праздник.

Долой войну!..

Казаки обнимают друг друга, обнимают иногородних, иногородние — казаков. Уже нет казаков, нет иногородних — есть только *граждане*. Нет «куркулей», нет «бисовых душ» — есть граждане.

Долой войну!..

В феврале согнали царя, в октябре что-то произошло в далекой России; никто толком не знал, что произошло, одно только врезалось в сердце:

Долой войну!..

Врезалось и было безумно понятно.

И повалили полки за полками с турецкого фронта. Повалила казацкая конница, шли плотно батальоны пластунов-кубанцев, шли иногородние пехотные полки, погромыхивала конная артиллерия, — и все это непрерывающимся потоком к себе на Кубань, в родные станицы, со всем оружием, с припасами, с военным снаряжением, с обозами. А по дороге разбивали водочные заводы, склады, опивались, тонули, горели живьем в выпущенном море спирта, уцелевшие валили к себе в станицы и хутора.

А на Кубани уж советская власть. А на Кубань уж налетели рабочие из городов, матросы с потопленных кораблей, и от них все вдруг стало ясно, отчетливо: помещики, буржуи, атаманы, царское разжигание ненависти между казаками и иногородними, между всеми народами Кавказа. И пошли лететь головы с офицеров, и полезли они в мешки и в воду.

А пахать надо, а сеять надо, а солнце, чудесное южное солнце, разгоралось на урожай все больше и больше.

— Ну, як же ж нам пахаты? Треба землю делить, а то время упустишь, — сказали иногородние казакам.

— Землю вам?! — сказали казаки и потемнели.

Стала меркнуть радость революции.

— Землю вам, злыдни?!

И перестали бить своих офицеров, генералов, и поползли они изо всех щелей и на тайных казацких сборищах стучали себе в грудь и говорили зажигательно:

— У большевиков постановлено: отобрать у козаков всю землю и отдать иногородним, а козаков повернуть в батраки. Несогласных — высылать в Сибирь, а все имущество отбирать и передавать иногородним.

Потемнела Кубань, тайно низом пополз загорающийся пожар по степям, по оврагам, по камышам, по задворкам станиц и хуторов.

— Та нэма найкращего края, як наш край!

И опять стали казаки — «куркули», «каклуки», «пугачи».

— Та нэма ж найкращего края, як цей край!

И опять стали иногородние — «бисовы души», «хамселы», «чига гостропуза».

Заварилась каша веселая в марте восемнадцатого года; стали расхлебывать ее, до слез горячую, в августе, когда в этом крае еще знойно солнце и видимо-невидимо ходят облака горячей пыли.

Звенят топоры, летит белая щепа, приткнулся мост в другой берег. Быстро и гулко переходит его конница, пластуны; спешат нагнать уходящего красного врага казаки.

VII

Скрипят обозы, идут солдаты, поматывают руками. У этого заплыли глаза. У этого нос здоровенной сливой. У этого запеклись скулы, — ни одного нет, чтобы не синели фонари. Идут, поматывают руками и весело рассказывают:

— Я его у самую у сопатку я-ак кокну, — он так ноги и задрав.

— А я сгреб, зажал голову промеж ног и давай молотить по ж..., а он, сволочь, ка-ак тяпнет за...

— Го-го-го!.. ха-ха-ха!.. — зареготали ряды.

— Як же ж ты до жинки теперь?

Весело рассказывают, и никак никто не вспомнит, как же это случилось, что, вместо того чтоб колоть и убивать, они в диком восторге упоения лупили по морде один другого кулаками.

Ведут четырех захваченных в станице казаков и допраши-

вают их на ходу. У них померкшие глаза, лица в синяках, кровоподтеках, и это сближает с солдатами.

— Що ж вы, кобылятины вам у зад, вздумали по морде? Чи у вас оружия нэма?

— Та що ж, як выпилы, — виновато ссутулились казаки.

У солдат заблестели глаза:

— Дэ ж вы узялы?

— Та ахвицеры, як прийшлы до блищей станицы, найшлы у земли закопани в саду двадцать пять бочонкив, мабуть с Армавиру привезли наши, як завод с горилкою громилы, тай закопалы. Ахвицеры построилы нас, тай кажуть: «Колы возьмете станицу, то горилки дадим». А мы кажем: «Та вы дайте зараз, тоди мы их разнесем, як кур». Ну, воны дали кажному по дви бутылки, мы выпилы, — а йисты не позволилы, щоб дущей забрало. Мы и кинулысь, а винтовки мешають.

— Э-э ссволочи!! — подскочил солдат. — Як свыньи, — и со всего плеча размахнулся, чтоб в зубы.

Его удержали:

— Посто-ой! Ахвицеры стравилы, а его бьешь?

За поворотом остановились, и казаки стали рыть себе общую могилу.

А бесконечные обозы, вздымая все закрывающие клубы пыли, двигались, скрипя, извиваясь на десятки верст по проселку, и синели впереди горы. В повозках краснели накиданные подушки, торчали грабли, лопаты, кадушки, блестели ослепительно зеркала, самовары, а между подушками, между ворохами одежи, полстей, тряпья виднелись детские головенки, уши кошек, кудахтали в плетеных корзинках куры, на привязи шли сзади коровы, и, высунув языки и торопливо дыша, тащились, держась в тени повозок, лохматые, в репьях, собаки. Скрипели обозы с наваленным на них скарбом, — бабы и мужики жадно и впопыхах кидали на телеги все, что попадалось под руки, когда пришлось бежать из своей хаты от восставших казаков.

Не в первый раз так подымались иногородние. Вспышки отдельных казачьих восстаний против советской власти за последнее время уже не раз выгоняли их из насиженных гнезд, но это продолжалось два-три дня; приходили красные войска, водворяли порядок — и все возвращались назад.

А теперь это тянется слишком долго — вторую неделю. А хлеба захватили всего на несколько дней. И каждый день, каждый день ждут — вот-вот скажут: «Ну, теперь можно возвращаться», — а оно все дальше, всё запутаннее; все злее подымаются казаки; отовсюду вести: по станицам стоят виселицы, вешают иногородних. И когда этому будет конец? И что теперь с оставленным хозяйством?

Скрипят телеги, повозки, фургоны, поблескивают на солнце зеркала, качаются между подушек детские головенки, и разношерстными толпами идут солдаты по дороге, по пашням вдоль дороги, по бахчам, с которых начисто, как саранча, снесли все арбузы, дыни, тыквы, подсолнухи. Нет рот, батальонов, полков,—все перемешалось, перепуталось. Идет каждый, где и как попало. Одни поют песни, другие спорят, кричат, матюкаются, третьи забрались на повозки и сонно мотают головами во все стороны.

Об опасности, о враге никто не думает. И о командирах никто не думает. Когда пробуют этот текучий поток хоть как-нибудь организовать, — командиров посылают к такой матери и, закинув на плечи винтовки, как дубины, прикладами кверху, раскуривают люльки либо орут срамные песни, — это вам не старый прижим.

Кожух тонет в этом непрерывно льющемся потоке, и как сжатая пружина теснит грудь: если навалится казачье, все лягут под шашками. Одна надежда — глянет смерть, и все, как вчера, дружно и послушно встанут в ряды, только не будет ли поздно? И ему хочется, чтоб скорей тревога.

А в дико шумящем потоке идут и идут демобилизованные из царской армии и мобилизованные советской властью, идут доб-

ровольно вступившие в красные войска, в большинстве мелкие ремесленники — бондари, слесаря, лудильщики, столяры, сапожники, парикмахеры и особенно много рыбаков. Все это — перебивавшиеся с хлеба на квас иногородние, все это — трудовой люд, для которого приход советской власти внезапно приоткрыл краешек над жизнью, — вдруг почуялось, что она может быть и не такой собачьей, как была. Подавляющая масса все-таки крестьянская. Эти поднялись со своих хозяйств почти сплошь. Остались богатеи, — офицерство и хозяйственные казаки их не трогали.

Странно поражая глаз, колыхаясь стройными, перетянутыми в черкесках фигурами, едут на добрых конях кубанские казаки, — нет, не враги, а революционные братья, казачья беднота, в большинстве — фронтовики, в сердцах которых среди дыма, огня, тысяч смертей революция заронила непотухающую искру.

Эскадрон за эскадроном в мохнатых папахах, на которых красные ленточки. И винтовки за плечами, и сияют черные с серебром кинжалы, шашки, — стройно, в порядке, среди текучего разброда.

Мотают головами добрые кони.

Будут биться с отцами и братьями. Дома бросили все: хаты, скотину, домашность, — хозяйство разорено. Едут стройные, ловкие, краснеют алые банты, завязанные милой рукой на папахе, и поют молодыми, сильными голосами украинские песни.



Любовно смотрит на них Кожух: «Добре, хлопцы! на вас вся надия». Любовно смотрит, но еще любовнее — на эту бредущую в облаках пыли, как попало, отре-

панную, босую иногороднюю орду, — ведь он кость от кости, плоть от плоти ее.

И неотступно тянется за ним его жизнь длинной косой тенью, которую можно забыть, но от которой нельзя уйти. Самая обыкновенная степная, трудовая, голодная серая, безграмотная, темная-темная косая тень. Мать еще молодая, а сама с изрезанным морщинами лицом, как замученная кляча, — куча ребятишек на руках, за подол цепляются. Отец — вековечный казачий батрак, жилы вытянул: да сколько ни бейся, все равно — ни кола, ни двора.

Кожух с шести лет — общественный пастушонок. Степь, балки, овцы, лес, коровы, облака бегут, а понизу бегут тени — вот его учеба.

Потом сметливым, расторопным мальчишкой у станичного кулака в лавке, — потихоньку и грамоте выучился; потом в солдаты, война, турецкий фронт... Он — великолепный пулеметчик. В горах забрался с пулеметной командой в тыл туркам, в долину, — турецкий фронт тянулся по хребту. Когда турецкая дивизия, отступая, стала спускаться на него, он заработал пулеметом, стал косить; люди, как трава — рядами, и побежала на него, дымясь, горячая кровь, и никогда он прежде не думал, что человечья кровь может бежать в полколена, — но это была турецкая кровь и забывалась.

За его невиданную храбрость послали в школу прапорщиков. Как трудно было! Голова лопалась. Но он с бычьим упорством одолевал учебу и... срезался. Офицеры хохотали над ним, офицеры-воспитатели, офицеры-преподаватели, юнкера: мужик захотел в офицеры! Экая сволочь... мужик... тупая скотина! Ха-ха-ха... в офицеры!

Он их ненавидел молча, стиснув зубы, глядя исподлобья. Его возвратили в полк, как неспособного.

Опять шрапнели, тысячи смертей, кровь, стоны, и опять его пулеметы (у него изумительный глаз) режут, и ложится рядами

человечья трава. Среди нечеловеческого напряжения, среди смертей, поминутно летающих вокруг головы, не думалось, во имя чего кровь в полколена,— царь, отечество, православная вера? Может быть, но как в тумане. А близко, отчетливо — выбиться в офицеры, выбиться среди стонов, крови, смертей, выбиться, как он выбился из пастушонков в лавочные мальчики. И он — спокойно, с каменными челюстями в безумно рвущихся шрапнелями местах, как у себя в хозяйстве, за сенокосом, и ложится кругом покошенная трава.

Его во второй раз посылают в школу прапорщиков, — офицеров-то нехватка, в боях всегда офицеров нехватка, а он фактически исполняет обязанности офицера, иногда командуя довольно крупными отрядами, и еще не знал поражения. Ведь для солдат он свой, земляной, такой же хлебороб, как они, и они беззаветно идут за ним, за этим корявым, с каменными челюстями, идут в огонь и в воду. Во имя чего? Царя, отечества, православной веры? Может быть. Но это — как в кровавом тумане, а возле—итти-то надо, итти неизбежно: сзади — расстрел, так веселей итти за ним, за своим, за корявым, за мужиком.

Как трудно, как мучительно трудно! Голова лопается. Куда труднее усвоить десятичные дроби, чем спокойно итти на смерть под пулеметным огнем.

А офицеры покатываются, — офицеры, набившиеся в школу нужно и не нужно, — а больше не нужно: тыл ведь всегда укромное местечко и загроможден спасающимися от фронта, и для спасающихся создаются тысячи ненужных тыловых должностей. Офицеры покатывались: мужик, растопыра, грязная сволочь!.. Как издевались, как резали на ответах, в конце концов вполне правильных, — овладел-таки.

И отослали, и отослали в полк за... неспособностью.

Огневые вспышки орудий, взрывы шрапнелей, бездушное татаканье, кроваво-огненный ураган, «и смерть, и ад со всех сторон», а он, как дома — хозяйственный мужичок.

Хозяйственный мужичок тяжело-упрям, как бык, на все наваливается каменной глыбой; недаром — украинец, и череп насунулся на самые глаза — маленькие колючие глаза.

За хозяйственность среди смертной работы его в третий раз, в третий раз посылают в школу.

А офицеры покатываются: опять?! Мужик... сволочь... раскоряка!.. И... и отсылают в полк — за неспособностью.

Тогда из штаба раздраженно: выпустить прапорщиком — в офицерах громадная убыль.

Хе-хе! В офицерах громадная убыль, — и в боях, и в бегах в тыл.

Презрительно выпустили прапорщиком. Явился в роту, а на плечах поблескивает,— добился. И радостно и не радостно.

Радостно: добился-таки, добился своего страшной тяжестью, нечеловеческим напором. И не радостно: поблескивавшее на плечах отделило от своих, от близких, от хлеборобов, от солдат, — от солдат отделило, а к офицерам не приблизило: вокруг Кожуха замкнулся пустой круг.

Офицеры вслух не говорили: «мужик», «сволочь», «раскоряка», но на биваках, в столовой, в палатках, всюду, где сходились два-три человека в погонах, вокруг него — пустой круг. Они не говорили словами, но молча говорили глазами, лицом, каждым движением: сволочь, мужик, вонючая растопыра...

Он ненавидел их спокойно, каменно, глубоко запрятанно. Ненавидел. И презирал. И от этой ненависти и от своей отделенности от солдат закрывался холодным бесстрашием среди тысяч смертей.

И вдруг все покачнулось: и горы Армении, и турецкие дивизии, и солдаты, и генералы с изумленно-растерянными лицами, и смолкшие орудия, и мартовские снега на вершинах, точно треснуло пространство и разинулось невиданно-чудовищное, — невиданное, но всегда жившее тайно в тайниках, в глубине; не

называемое, — но когда сделалось явным — простое, ясное, неизбежное.

Приехали люди, обыкновенные, с худыми желтыми фабричными лицами, и стали раздирать эту треснувшую расщелину все шире и шире, раскрывая ее. Забила оттуда вековая ненависть, вековая угнетенность, возмутившееся вековое рабство.

Кожух в первый раз пожалел, что на плечах блестит то, чего так каменно добивался: он оказался в одних рядах с врагами рабочих, с врагами мужиков, с врагами солдат.

После докатившихся октябрьских дней с отвращением сорвал и закинул погоны и, подхваченный неудержимо шумящими потоками войск, устремившимися домой, запрятавшись в темный угол, стараясь не показываться, ехал в набитой тряской теплушке. Пьяные солдаты орали песни и охотились на скрывавшихся офицеров, — не доехать бы ему, если б его заметили.

Когда приехал, все валялось кусками — весь старый строй, отношения, а новое было смутно и неясно. Казаки обнимались с иногородними, ловили офицеров и расправлялись.

Как зернышки дрожжей, упали в ликующее население приехавшие с заводов рабочие, привалившие с потопленных кораблей матросы, и Кубань революционно поднялась, как опара. В станицах, в хуторах, в селах— советская власть.

Кожух хотя словами не умел сказать: «классы, классовая борьба, классовые отношения», но глубоко почуял это из уст рабочих, схватил ощущением, чувством. И то, что наполняло его каменной ненавистью — офицерье, теперь оказалось крохотным пустяком перед ощущением, пред этим чувством неизмеримой классовой борьбы, — офицерье — только жалкие лакеи помещика и буржуа.

А следы добытых когда-то с таким нечеловеческим упорством погонов жгли плечи, — хоть и знали его за своего, а косились.

И так же каменно, с таким же украинским упорством он решил каленым железом, своей кровью, своей жизнью выжечь эти следы и так послужить — нет, неизмеримо больше послужить громаде бедноты, кость от кости которой он был.

А тут как раз подошло. Беднота искореняла буржуев. А так как под это подходили все, у кого была лишняя пара штанов, то хлопцы ходили по дворам, разбивали у всех сундуки, вытаскивали и делили, тут же напяливая на себя: потому — надо сделать между всеми уравнение.

Заглянули и к Кожуху в его отсутствие, выбрали, какое оказалось, платье, и приехавший Кожух, как был — в рваной гимнастерке, в старой, обвислой соломенной шляпе, в опорках—так и остался, а жена его — в одной юбке. Махнул Кожух рукой, весь переполненный одним ощущением, одной упорной мыслью.

Стали уравнивать хлопцы и казаков, а когда добрались до уравнения земли — закипела Кубань, и советскую власть смахнуло.

И Кожух едет теперь среди скрипа, говора, шума, лошадиного фырканья и бесконечных облаков пыли.

VIII

На последней станции перед горами столпотворение вавилонское: шум, крики, плач, матерная отборная ругань, разрозненные воинские части, отдельные группы солдат, а за станцией выстрелы, крики, смятенье. От времени до времени бухают орудия.

Тут и Кожух со своей колонной и своими беженцами. Подошел и Смолокуров со своей колонной и беженцами. Непрерывно подходят и другие отряды, — тянулись отовсюду, теснимые и гонимые казаками. И на этом последнем клочке сбились десятки тысяч обреченных людей, — кадеты и казаки никому не

дадут пощады, ни старому, ни малому, — все лягут под шашками, под пулеметами или повиснут на деревьях, либо, сваленные в глубоких оврагах, будут живьем засыпаны камнями и землей.

И в отчаянии уже разносится неоднократно раздававшееся: «Продали... пропили нас командиры!» И когда усилилась орудийная пальба, вдруг вспыхнуло:

— Спасайся, кто может!.. Разбегайся, ребята!

Хлопцы из колонны Кожуха кое-как сдерживали казаков и панику, но — чуялось — не надолго.

Командиры поминутно совещались, но из пустого в порожнее, и никто не знал, что произойдет в следующую минуту.

Кожух заявил:

— Единственное спасение — перевалить горы и по берегу моря усиленными маршами иттить в обход на соединение с нашими главными силами. Я сейчас выступаю.

— Если попробуешь выступить, открою по тебе огонь, — сказал Смолокуров, гигант с черной окладистой бородой, ослепительно сверкая зубами, — надо с честью защищаться, а не бежать.

Через полчаса колонна Кожуха выступила, никто не осмелился ее задержать. И как только выступила — десятки тысяч солдат, беженцев, повозок, животных в панике кинулись следом, теснясь, загромождая шоссе, стараясь обогнать друг друга, сбросить мешающих в канавы.

И поползла в горы бесконечная живая змея.

IX

Шли весь день, шли всю ночь. Пред зарей, не выпрягая, остановились, заняв много верст шоссе. Над перевалом, совсем близко, играли крупные звезды. Неумолчно звенела в ущельи говорливая вода. Всюду мгла и молчание, как будто ни гор, ни

лесов, ни обрывов. Только лошади звучно жуют. Не успели завесть глаза — стали меркнуть звезды; проступили дальние лесистые отроги; в ущельях потянули молочные туманы. Опять зашевелились, и поползло на десятки верст шоссе.

Из-за далеких хребтов ослепительно брызнуло выплывающее солнце и длинно погнало по горам голубые тени. Голова колонны выбралась на перевал. Выбралась на перевал, и ахнуло у каждого: неизмеримым провалом обрывается хребет, и, как несбыточный намек, неясно белеет внизу город. А от города, поражая неожиданностью, неохватимой синей стеной подымается море, такой невиданно-огромной стеной, что от ее синей густоты побелели у всех глаза.

— О, бачь, море!

— А чого ж воно стиной стоить?

— Це придеться лизти через стину.

— А чому, як на берегу стоишь, воно лежить ривно геть до самого краю?

— Хиба ж не чул, як Моисей выводив евреев с египетского рабства, от як мы теперь, море встало стиною, и воны прошли як по суху?

А нам, мабуть, загородило, не пускае.

— Та це через Гараську, у ёго новые чоботы, так щоб не размочило.

— Треба попа, он зараз все смаракуе.

— Положи его, волосатого, соби в портки...

Размашистей идут под гору ряды, веселей мотаются руки, говор и смех разбегаются по рядам, ниже и ниже спускается колонна, и никто не думает о черном гигантском утюге, что зловеще неподвижен, угрюмо дымит, уродуя голубое лицо бухты, — немецкий броненосец. Вокруг него тоненькими черточками — турецкие миноносцы, и от них тоже черные дымки.

А из-за гребня вываливаются все новые и новые ряды весело шагающих солдат, и всех одинаково поражает густая синяя

стена до неба, и голубеют глаза, и возбужденно мотаются руки в размашистом спуске по белому петлистому шоссе.

А там и обозы. Потряхивают лошади с насунутыми на уши хомутами. Грациозно рысцой бегут коровы. С визгом несутся на хворостинках ребятишки. Уторопленно поспешают взрослые, поддерживая накатывающиеся повозки. И все вместе, поминутно виляя по петлям направо-налево, весело торопятся навстречу неведомой судьбе.

Сзади поднялся гребень перевала, закрыл полнеба.

Спустившаяся голова, бесконечной змеей обогнув город между бухтой и цементными заводами, далеко втянулась в узкую полосу. С одной стороны к самому берегу придвинулись каменные лысые горы, с другой — сердце ахнуло: такой голубоглазой нежностью пустынно лег морской простор.

Ни дымка, ни белеющего паруса. Только сквозные тающие кружева без конца и меры про-



зрачно всплывают и исчезают на влажных камнях. И в бездонном молчании, слышимая только сердцем, звучит первозданная песнь.

— Бачь, море опять лягло.

— А ты думав, воно так и буде стиной стоять? То с горы воно обманывало. А то як же ж бы по йому йиздиты?

— Эй, Гараська, теперь пропали твои чоботы, наскрозь промокнуть, як побредешь через море.

А Гараська весело шагает под винтовкой босиком.

Дружный смех катится по рядам, и задние, ничего не слышавшие и не знающие, в чем дело, весело регочут.

А мрачный голос:

— Все одно, нам теперича никуды не вывернуться: отцеда вода, оттеда горы, а сзади — козаки. И рад свернуть, да некуды. При вперед, больше никаких!

Голова потянулась далеко по узкому берегу, скрылась за морской извилиной, середина бесконечно огибала город, а хвост все еще весело извивался по шоссе, спускавшемуся белыми петлями с хребта.

Немецкий комендант, пребывавший на броненосце, заметил непредусмотренное движение в чужом, но под его кайзеровскими пушками, городе, а это уже беспорядок: отдал распоряжение, чтобы неизвестные люди, обозы, солдаты, дети, женщины — все это, торопливо уходившее мимо города, — чтобы немедленно остановилось и чтобы сдали оружие, запасы, фураж, хлеб и ждали дальнейших распоряжений.

Но пыльная серая змея все так же поспешно уползала, все так же торопливо, иноходью трусили озабоченные коровы, ухватившись за повозки, мелькая ножонками, семенили ребятишки, взрослые молча нахлестывали вытягивавшихся лошадей, и от рядов шел густой, размашистый, дружный гул, отдававшийся в глубине; клубами всплывала ослепительно белая пыль.

В этот нескончаемый поток с треском, с матерной руганью просоленных морскими ветрами голосов, ломая чужие оси и колеса, стал вливаться из города другой поток груженых повозок. На этих нескончаемых повозках виднелись кряжистые, плотно сбитые, проспиртованные фигуры матросов; синели на белых матросках отложные воротники, полоскались свешивавшиеся с круглых шапочек черно-желтые — полосками—ленточки. Больше тысячи повозок, бричек, дрожек, фаэтонов, колясок влилось в проползавшие обозы, а на них крашеные бабы и тысяч пять матросов, ругающихся самыми солеными ругательствами.

Немецкий комендант подождал и не дождался остановки.

Тогда, вдруг разорвавши голубое спокойствие, ахнуло с броненосца, и пошло ломаться и грохотать по горам, ущельям, будто валились гигантские обломки. А через секунду отдалось в тридесятом царстве, за недвижимо потерявшейся голубой далью.

Над уползающей змеей загадочно и мягко родился белый клубочек, лопнул с тяжелым треском и, медленно относимый, стал таять.

Гнедой мерин, казавшийся ночью вороным, неожиданно вскинулся на дыбы и с размаху грохнулся, ломая оглобли. Человек двадцать бросились к нему, ухватили кто за гриву, кто за хвост, за ноги, за уши, за чолку, сразу сволокли с шоссе в канаву, опрокинули туда же и повозку, и громада обоза, ни на секунду не запнувшись, во всю ширину шоссе, повозка в повозку, неудержимо катилась вперед. Горпина и Анка с плачем выхватили, что попалось под руку, с опрокинутой повозки, рассовали по чужим и пошли пешком, а старик торопливо срезал дрожащими руками шлею и стаскивал хомут с мертвой лошади.

Второй раз с броненосца ослепительно блеснуло громадным языком, опять грохнуло в городе, покатилось в горах, через секунду глухо отозвалось за морской гладью; опять родился в сверкающей голубой высоте снежный комочек, в разных местах со

стоном попадали люди, а на повозке, на руках у молодки с черными бровями и серьгами в ушах, торопливо сосавший грудь ребенок обмяк, отвалились ручонки, и губки, холодея, раскрылись, выпустив сосок.

Она закричала диким, звериным голосом. К ней кинулись, она не давалась, злобно вырываясь и суя в холодеющий ротик грудь, из которой белыми каплями капало молоко. Маленькое личико с полузаведенными глазками погасло, наливаясь желтизной.

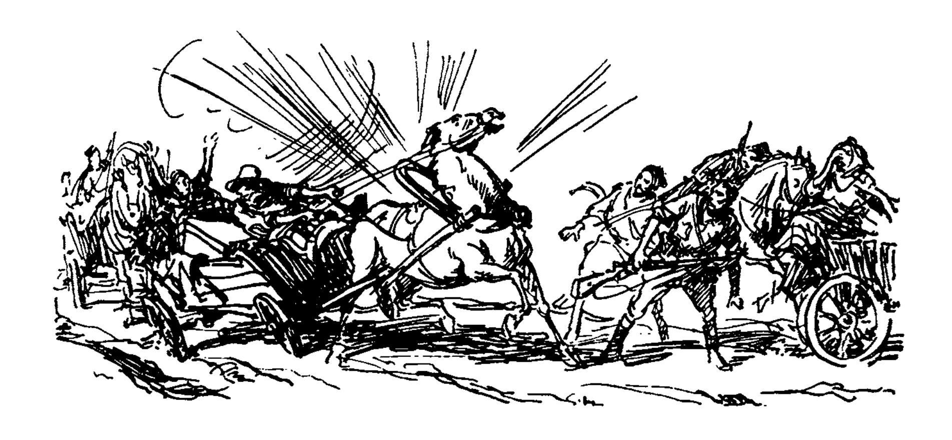
А змея все ползла, все ползла, огибая город. Высоко на перевале, под самым солнцем, показались люди, лошади. Они были крохотны, едва различимы — меньше ноготка. Что-то делали, отчаянно суетились около лошадей, а потом вдруг замерли.

И тотчас же там ахнуло раз за разом четыре раза и пошло ломаться и перекатываться по горам, а внизу, по сторонам шоссе, в разных местах в воздухе стали торопливо рождаться белые комочки и лопаться сначала высоко, потом все ниже и ниже, все ближе к шоссе, и то там, то тут стали падать со стоном люди, лошади, коровы. Людей, не слушая их стонов, быстро клали на повозки, лошадей и скотину сволакивали в сторону, и змея ползла и ползла, не размыкаясь — повозка в повозку.

Кайзеровский комендант обиделся. Женщин, детей он мог расстреливать — этого требовал порядок, но другие этого не смели делать без его, коменданта, разрешения. Длинный хобот орудия на броненосце поднялся и ахнул огромным языком. Высоко над голубой бездной, над обозом, над горами полетело, торопливо удаляясь: клы-клы-клы... и грохнуло там, у перевала, где были крохотные, с ноготок, люди, лошади, орудия. Люди там опять засуетились. Четырехорудийная батарея очередь за очередью стала посылать коменданту, и уже над «Гебеном» стали рождаться в голубом воздухе белые комочки. «Гебен» сердито замолчал. Из трубы его густо повалили громадные черные

клубы. Угрюмо двинулся, медленно вышел из голубой бухты в густую синеву моря, повернулся, и... потрясающе взорвало море и небо. Морская синева померкла. Под ногами с нечеловеческой силой содрогнулось; мучительно отдалось в груди, в мозгу. В домах распахнулись окна, двери, и все на минуту оглохли.

У перевала, не пробиваемая солнцем, подымалась нечеловеческая громада, траурно-зеленоватая, медленно клубясь. И в



ядовитых парах ее кучки уцелевших казаков озверело секли плетьми смертельно рвавшихся карьером в гору лошадей с оставшимся орудием и через минуту пропали за гребнем. И все стояла зеленовато-траурная громада, медленно-медленно расплываясь.

От нечеловеческого сотрясения расселась земля, раскрылись могилы: по всем улицам появились мертвецы. Восковые, с черно провалившимися ямами вместо глаз, в рваном вонючем белье, они тащились, ползли, шкандыбали, и все в одном направлении — к шоссе. Одни молча, сосредоточенно, не опуская глаз, мучительно передвигали ноги, другие размашисто перекидывали

за костылями безногое тело, обгоняя идущих, третьи бежали, крича непонятными, хриплыми, срывающимися голосами.

И тоненько, как подстреленная птица, где-то стояло:

— Пи-ить... пи-ить... пи-и-ить, — тонко, как раненая птица над сухим голодным лугом.

Совсем молоденький, в рваном белье, сквозь которое желтеет тело, равнодушно переставляет мертвые ноги, глядя и не видя перед собой горячечными глазами:

— Пи-и-ить... пи-и-ить...

Сестра, с мальчишеской, наголо остриженной головой, с полинялым крестом на драном рукаве, босая, бежит за ним:

— Постой, Митя... Куда ты... Сейчас дам воды, чаю, постой же... Пойдемте назад... не звери же они...

— Пи-ить... пи-и-ить...

В обывательских домах торопливо закрываются окна, двери. С чердаков, из-за заборов стреляют в спины. А из лазаретов, из госпиталей, из частных домов все вылезают, вываливаются из окон, падают из верхних этажей и тянутся и ползут за уходящим обозом.

Вот цементные заводы и шоссе. А по шоссе уторопленно проходят коровы, лошади, собаки, люди, повозки, арбы, — уползает змеиный хвост.

Безногие, безрукие, с раздробленными грязно-обмотанными челюстями, с накрученными из кровавых тряпок чалмами на головах, с забинтованными животами, спешат, не спуская горячечных глаз с шоссе, а повозки все уходят, и у людей, шагающих возле повозок, лица замкнутые, нахмуренные, смотрят только перед собой. И стоит, не падая, умоляющее:

— Братцы!.. братцы!... товарищи!..

Несутся отовсюду то охриплые, то срывающиеся голоса, то пронзительно-звонко слышно у самых гор:

— Товарищи, я — не тифозный, я — не тифозный, я — раненый, товарищи!..

— И я — не тифозный... товарищи!

— И я — не тифозный...

— И я...

— И я...

Уползают повозки.

Один ухватился за нагруженную доверху скарбом и детьми арбу и, держась обеими руками, прыгает на одной ноге. Седоусый хозяин арбы, с почернелым, выдубленным солнцем и ветром лицом, нагибается, хватает его за единственную ногу и всовывает в арбу на головы отчаянно завизжавших детей...

— Та цю! Схаменыся, дитей передушив! — кричит баба со сбившимся платком.

У безногого лицо счастливейшего в мире человека. А вдоль шоссе все идут и идут, спотыкаясь, падая, подымаясь или оставаясь белеть неподвижно на обочине.

— Ро̀дные мои, та всих бы забралы, як бы можно, та куды ж? Скильки своих раненых, а йисты нэма чого, пропадете вы з нами, и жалко вас... — Бабы сморкаются и вытирают упрямо набегающие слезы.

Громадного роста солдат, с нахмуренным лицом и одной ногой, сосредоточенно глядя перед собой, далеко закидывает вперед костыли, потом сильное тело, без отдыху широко отмеривая шоссе, и приговаривает:

— Матть вашу так и так... так вас, разэтак!..

А обоз уходит и уходит. Последние колеса уже далеко подымают пыль, и слабо доносится постукивание железных осей. Город, бухта — позади. Только пустынное шоссе, а по нему, далеко растянувшись, медленно двигаются за скрывшимся обозом восковые мертвецы. Мало-помалу бессильно останавливаются, садятся и ложатся по обочине. И все одинаково тянутся померкшими глазами в ту сторону, где скрылась последняя повозка. Тихо садится тронутая закатом пыль.

А высокий безногий солдат все так же перекидывает костылями сильное тело по безлюдному шоссе и бормочет:

— Матть вашу так!! Кровь за вас проливали... Так вас и так!..

С противоположной стороны в город входят казаки.

X

Тянется усталая ночь, и, ни на минуту не прерывая шумящего, не утихающего движения, льется черный человеческий поток.

Уже изнеможенно бледнеют звезды. Проступают бурые, пустынно-сожженные горы, промоины, ущелья.

Светлеет и светлеет небо. Неизмеримо открывается непрерывно меняющееся море, то нежно-фиолетовое или дымчато-белесоватое, то подернутое голубизной потонувшего в нем неба.

Верхи гор осветились. Осветились темные, бесчисленно колыхающиеся штыки.

По скалистым обрывам, надвинувшимся к самому шоссе, — виноградники; белеют дачи, пустые виллы. Изредка там стоят люди с лопатами, с кирками, в соломенных самоделковых шляпах, стоят, смотрят: мимо, без конца, мотая руками, идут солдаты, и бесчисленно остро колышутся штыки.

Кто они? Откуда они? Куда так безостановочно идут, устало мотая руками? Желтые, как дубленая кожа, лица. Запыленные, изодранные. Черные круги вокруг глаз. Скрипят повозки, глухо постукивают усталые копыта. Выглядывают из повозок дети. Должно быть, без отдыху, и лошади опустили морды.

Опять вскидывают землю лопаты. Какое им дело!.. Но когда от усталости разгибают спины, по шоссе, послушно изгибаясь по извилинам берега, все идут и идут, и бесчисленно колышутся штыки,

А уж солнце куда выше гор, и земля наливается зноем, и на блеск моря больно смотреть. Час, два, пять — все идут и идут. Люди стали шататься, лошади останавливаться.

— Чи вин с глузду зъихав, цей Кожух!

Всплывает брань.

Кожуху доложили, что от его колонны оторвались присоединившиеся две колонны Смолокурова со своими обозами и заночевали на пути, и теперь между ними верст на десять свободное шоссе. Он сузил маленькие глазки, пряча не к месту насмешливые огоньки, и ничего не сказал. И все шли и шли.



— Он нас загоняет, — глухо стало всплывать по колонне.

— А чево гонит: отседа море, отседа горы, кто нас тронет? А так и без козаков все с натуги пропадем. Вон уж пять лошадей бросили, не идут. И люди ложатся по обочинам.

— Чево вы смотрите на него! — кричат матросы, обвешанные револьверами, бомбами, пулеметными лентами, обходя двигавшиеся повозки, вмешиваясь в идущие ряды, — не видите, свое гнет. Али не он был офицером? Вот попомните: заведет он нас. Будете локотки кусать, да поздно.

Когда солнце сделало тени страшно короткими, остановились на четверть часа, напоили лошадей, напились взмокшие от пота люди и опять двинулись по раскаленному шоссе, тяжело передвигая свинцовые ноги, и струился обжигающий воздух. Невыносимо ослепительно сверкает море. И все идут, и глухой ропот уже явственно и грозно расстраивает ряды. Некоторые командиры рот и батальонов заявили Кожуху, что выделят свои части на остановку и пойдут самостоятельно.

Кожух потемнел, ничего не ответил. Колонна все идет и идет.

Ночью остановились. В темноте на десятки верст вдоль шоссе заблистали костры. Рубили корявое, низкорослое, сухое, цепкое держи-дерево — в этой пустыне нет лесов, — растаскивали заборы в попадающихся дачах, выламывали рамы, вытаскивали мебель, жгли. Над огоньком кипели котелки с варевом.

Казалось, от нечеловеческой усталости все должны свалиться пластом и спать, как убитые. Но озаренная кострами темнота красно шевелилась, была странно оживлена. Слышался говор, смех, звуки гармошки. Солдаты баловались, пихали друг друга на огонь. Уходили в обоз, играли с дивчатами. В котелках кипела каша. Огонь больших костров лизал черные ротные котлы. Редко дымили военные кухни.

Этот бесконечный табор, похоже, расположился надолго.

XI

Ночь, пока шла со всеми, была едина. А как только остановились, распалась на кусочки, и каждый кусочек жил по-своему.

Около небольшого огонька с висевшим над ним котелком, который вместе с другими вещами и с провизией успели выхватить из брошенной повозки, на корточках сидела растрепанная, похожая при красноватом освещении на ведьму, баба Горпина. Возле, на разостланном по земле суконном архалуке, несмотря

на теплую ночь, прикрыв лицо углом, спал старик. Баба, сидя у огня, причитала:

— Як нэма ни чашки, ни ложки... И кадушечка осталась; кому вона достанеться? Така славна та крепка, кленовая. Чи буде у нас коняка, як тый Гнедко? Який бегучий — кнута николи не просив. Старик, иди снидать.

Из-под свиты хрипло:

— Нэ хо́чу.

— Та що ж ты робишь! Нэ исты, занедужишь, — що ж тебе на руках нести тоди!

Старик молча лежит на земле с закрытым в темноте лицом.

Недалеко возле повозки на шоссе стройно белеет в темноте девичья фигура. И девичий голос:

— Та лышечко мое, та серденько, та отдай же! Нельзя ж так...

Бабы смутно белеют вокруг повозки, в несколько голосов:

— Та отдай же, треба похорониты андельскую душку. Господь его приме...

Молча стоят мужики.

А бабы:

— Сиськи набрякли, не удавишь.

Суют руки и пробуют выпятившиеся, не поддающиеся под пальцами груди. Простоволосая голова с блестящими в темноте, как у кошки, глазами наклоняется над выпукло белеющей из разорванной рубахи грудью, и привычные пальцы, перехватив сосок, нежно вкладывают в неподвижно открытый холодный ротик.

— Як каменная.

— Та уж смердить, нельзя стоять.

Мужичьи голоса:

— Та шо з ей балакаты, — узять, тай квит.

— Зараза. Як же ж так можно! Треба похорониты.

И двое мужиков, здоровые, сильные, берут ребенка, разжимают материнские руки. Темноту пронизывает исступленно-

звериный визг,— слышно у костров, уходящих цепочкой вдоль шоссе; пронеслось над смутно невидимым морем; и в пустынных услышали горах, если кто там затаился. Повозка скрипит и качается от остервенелой борьбы.

— Куса-аться!..

— Та чортяка з ей — уси зубы в руку загнала.

Мужики отступаются. Опять, пригорюнясь, стоят бабы. Понемногу расходятся. Подходят другие. Щупают набрякшие груди.

— И вона помре, спеклося молоко.

А на повозке все так же сидит расхристанная, поминутно поворачивает во все стороны простоволосую голову, сторожко блестит сухим звериным глазом, каждую секунду готовая остервенело защищаться. В промежутках нежно кормит грудью окостенелый, холодный ротик.

Дрожат огни, далеко пропадая в темноте.

— Та се́рденько, та отдай же ёго, отдай, бо вин мертвый. А мы похороним, а ты поплачь. Чого ты не плачешь?

Девушка прижимает к груди эту растрепанную ведьмину голову с горящими в темноте волчьими глазами. А та говорит, заботливо отстраняя, говорит хриплым голосом:

— Тыхесенько, Анка, шш... вин спить, не баламуть ёго. От всю ночь спить, а пид утро будэ гуляты, пиджидае Степана. Як Степан прийдэ, зараз зачне пузыри пускаты та ноженятки раскоряче, та гулюшки пускае. Ой, така мила дитына та понятлива, така разумна!

И она тихонечко смеется милым сдавленным смешком.

— Тссс...

— Анка! Анка!.. — доносится от костра, — що ж ты не идешь вечеряты... Старик не ийде, и ты побигла... От, коза востроглаза... Усе засухарилось.

Бабы все приходят, пощупают, поболезнуют и уходят. Или стоят, подперев подбородок и поддерживая локоток, смотрят.

Смутно раскуривают люльки мужики, на секунду красновато озаряя заросшие лица.

— Треба за Степаном послаты, а то вин сгние у нэи на руках, черви заведутся.

— Та вже ж послалы.

— Микитка хромый побиг.

XII

Эти огни особенные. И говор особенный, и смех, и женские игривые взвизги, и густая матерная брань, и звон бутылок. То вдруг разом ударят несколько мандолин, гитар, балалаек, — целый оркестр зазвучит струнно-упруго, совсем не похоже на тьму, на цепочку огней во тьме. Неподвижны черные горы; невидимое море молчаливо, чтоб не мешать своей громадой.

И люди особенные, крупные, широкоплечие, с уверенными движениями. Когда попадают в красно-колеблющийся круг костра, — отъевшиеся, бронзовые, в черно болтающихся штанах клеш, в белых матросках с низко открытой бронзовой шеей и грудью, и на спине с круглых шапочек болтаются ленточки. Ни одного слова, ни одного движения без ругани.

Женщины, выхваченные из темноты мигающим отсветом костра, мелькают крикливыми пятнами. Смех, взвизги — любезные балуются. Подобрав цветные юбки, на корточках готовят



на огне костров, подпевая подозрительно хриплыми голосами, а на четырехугольно белеющих на земле скатертях — коробки с икрой, сардины, шемая, бутылки вина, варенье, пироги, конфеты, мед. Этот табор далеко тянется во тьме гомоном, звоном, разухабистым смехом, бранью, перекликами, неожиданно стройными, струнно-звенящими звуками мандолин и балалаек. Или вдруг мощно заполнит темноту пьяный, но спевшийся дружный хор, да оборвут: вот видели, мол, нас? все можем. И опять то же — звон, смех, говор, взвизги, шуточная, любая, матерщина.

— Товарищи!

— Есть.

— Отдавай концы.

— Играй...

— Ой, Камбуз! Браслетку оборвал... да ну тебя!.. Браслетка поте...

Голос перехватился.

— Товарищи, на каком мы тут основании?.. Али офицерские времена ворочаются?.. Почему Кожух распоряжается?.. Кто его в генералы производил? Товарищи, это — эксплоатация трудового народа. Враги и эксплоататоры...

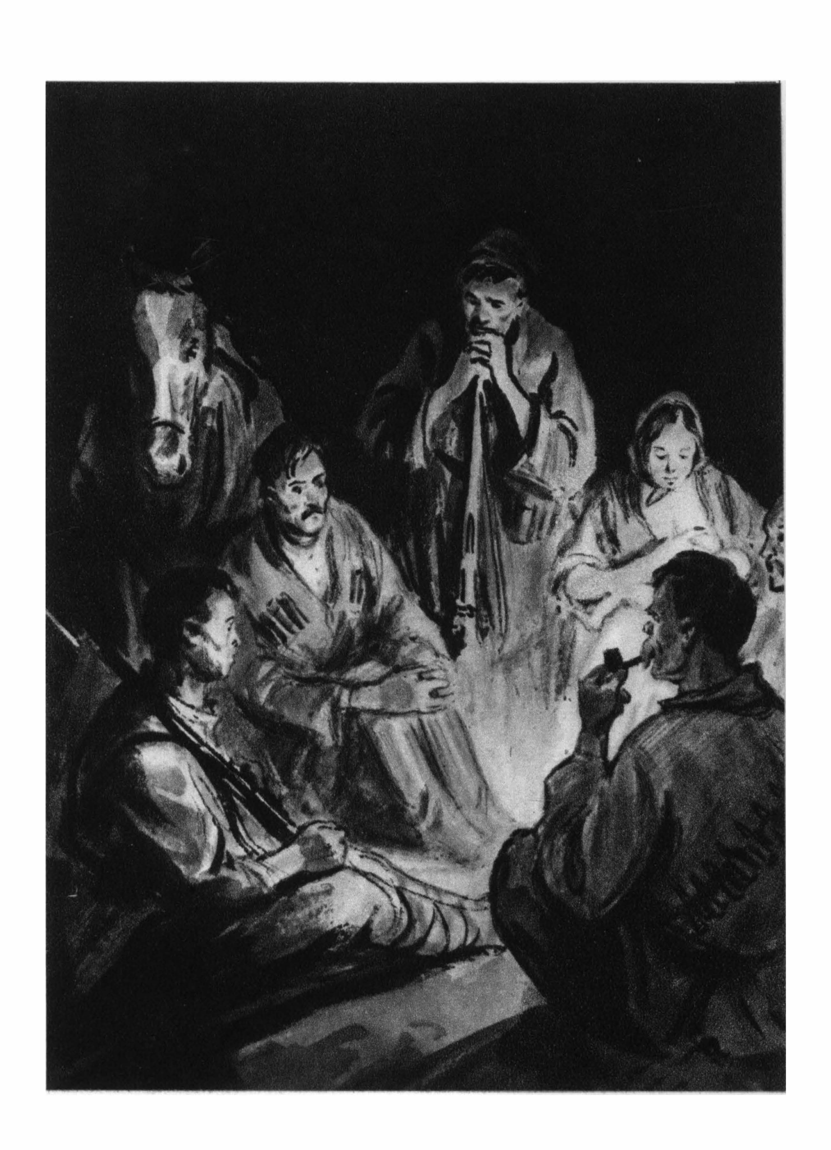
— Бей их, так-растак!..

И дружно и стройно:

Сме-ело, то-вари-щи, в но-огу,
Ду-ухом окре-е-пне-е-м в борь-бе-е...

XIII

Он сидит, озаренный костром, охватив колени, и неподвижен. Из темноты за спиной выставилась в красно озаренный круг лошадиная голова. Мягкие губы торопливо подбирают брошенное на землю сено; звучно жует; большой черный глаз поблескивает умно и внимательно фиолетовым отливом.



— Та так, — говорит он, все так же задумчиво охватывая колени, не мигая глядит в этот шевелящийся огонь, рассказывает, — пригнали полторы тыщи матросов, собрали всех, кого захватили. Та и они дураки: мы на воде, наше дело морское, нас не тронуть. А их пригнали, поставили та и кажуть: ройте. А кругом пулеметы, два орудия, козаки с винтовками. Ну, энти, небоги, роют, кидають лопатами. Молодые все, здоровые. На полугорье народу набилось. Бабы плачуть. Ахвицеры ходють с левольверами. Которые нешвыдко лопатами кидають, стреляють ему у животи, щоб довго мучився. Энти роють соби, а которые с пулями у животи — ползають у крови вси, стогнуть. Народ вздыхае. Ахвицеры: «Мовчать вы, сукины диты!»

Он рассказывает это, а все молча прислушиваются к тому, чего он не рассказывает, но что все откуда-то знают.

Стоят вокруг, красно освещенные, без шапок, опираясь о штыки; иные лежат на животе, слушают, и из темноты выступают лохматые внимательные головы, подпертые кулаками. Старики — уткнув бороды. И бабы белеют, пригорюнившись. А когда огонь замирает, сидит только один, охватив колени; лошадиная голова на минуту опускается за спиной, подымается и звучно жует; черно блестит умный слушающий глаз. И кажется: кроме одного — никого, беспредельная темь. И перед глазами: степь, ветряки, и по степи вороной стелется, карьером доскакал и плюхнулся, как мешок, кроваво порубанный. А за ним другой, соскочил, ухо к груди: «Сынку мий... сынку...»

Кто-нибудь подбросит на тлеющие угли корявое, сухое, цапастое держи-дерево. Закорежится, вспыхнет, отодвинет темноту, — и опять стоят, опираясь о штыки; уткнулись в бороду старые; бабы пригорюнились; озаренно проступают подпертые кулаками внимательные головы.

— Дюже дивчину мучилы, ой, як мурдовалы. Козаки, цила сотня... один за одним сгнушались над ней, так и умерла пид ими. Сестрой у наших у госпитали була, стрижена, як хлопец,

босиком все бигала, работница с заводу; конопата та ризва така. Не схотила тикать от раненых: никому присмотреть, никому воды подать. У тифу богато лижало. Всих порубилы — тысяч с двадцать. Со второго этажа кидалы на мостовую. Ахвицеры, козаки с шашками по всиму городу шукалы, всих до одного умертвилы. Богато залило увесь город.

И уже нет звездной ночи, нет чернеющих гор, а стоит: «Товарищи! товарищи!.. я — не тифозный, я — раненый...» — немеркнуще стоит перед глазами.

Опять темь, и над тьмой звезды, и он спокойно рассказывает, и все опять чувствуют то, о чем молчит: двенадцатилетнему сыну прикладом размозжили голову; старуху-мать засекли плетьми; жену насиловали, сколько хотели, потом вздернули петлей на колодезный журавель, а двое маленьких неведомо куда пропали, — молчит, но все это откуда-то знают.

В странной связи стоит великое молчание в таинственной черноте гор, в заслоненном темнотой морском просторе — ни звука, ни огонька.

Мигает красный отсвет, колебля сузившийся круг темноты. Сидит озаренный человек, охватив колени. Звучно жует лошадь.

Да вдруг засмеялся молодой, который опирался о штык, и белые зубы розовато блеснули на безусом лице:

— У нашей станицы, як прийшлы с фронта козаки, зараз похваталы своих ахвицеров, тай геть у город к морю. А у городи вывелы на пристань, привязалы каменюки до шеи тай сталы спихивать с пристани у море. От булькнуть у воду тай все ниже, ниже, все дочиста видать — вода сы-ня та чиста, як слеза, — ей-бо. Я там был. До-овго идуть ко дну, тай все руками, ногами дрыг-дрыг, дрыг-дрыг, як раки хвостом.

Он опять засмеялся, показал белые, чуть подернутые краснотой зубы. Перед костром сидел человек, охватив колени. Стояла красно мигающая темнота, а в темноте нарастала слушающая толпа.

— А як до дна дойдуть, аж в судорогах ущемляются друг с дружкой тай замруть клубком. Все дочиста видать, — вот чудно̀.

Послушались: далеко-далеко, и мягко, и говоря о чем-то сердцу, плыли стройные струнные звуки.

— Матросня! — сказал кто-то.

— А у нашей станицы козаки ахвицеров у мешок заховалы. Сховають у мешок, увяжуть, та айда у море.

— Як же ж то можно людэй у мешках топить... — печально проговорил заветренный, степной голос, помолчал, и не видно, кто, потом невесело сказал: — мешкив дэ теперь достанешь, нэма, без мешкив в хозяйстве хоть плачь, — з России не везуть.

Опять молчание. Может быть, потому, что сидит перед костром человек, недвижимо охватив колени.

— В России совитска власть.

— У Москви-и!

— Та дэ мужик, там и власть.

— А до нас рабочие приизжалы, волю привезлы, совитов наробылы по станицам, землю казалы отбирать.

— Совесть привезлы, а буржуев геть.

— Та хиба ж не мужик зробыв рабочего? Бачь, скильки наших на цементном работае, а на маслобойном, на машинном, та скризь по городам на заводах.

Откуда-то слабо доносилось:

— Ой, мамо...

Потом младенец заплакал. Бабий голос уговаривал. Должно быть, на шоссе, в смутно чернеющих повозках.

Человек розиял колени, поднялся, попрежнему красновато освещенный с одной стороны, дернул за холку опустившуюся было лошадиную голову, взнуздал, подобрал с земли в приторoченный мешок остатки сена, вскинул за плечи винтовку, вскочил в седло и разом потонул. Долго, удаляясь и слабея, цокали копыта и тоже погасли.

И опять чудилось: будто нет темноты, а бескрайно степь и ветряки, и от ветряков пошел топот, и тени косо и длинно погнались, а вдогонку: «Куды? Чи с глузду зыихав?.. Назад!..» — «Та у него семейства там, а тут сын лежить...»

— Эй, вторая рота!

Сразу опять темь, и далекой цепочкой горят огни.

— Пойихав до Кожуха докладать,— все чисто у казаков знае.

— Ой, скильки вин их поризав, и дитэй и баб!

— Та у него ж все козацкое — и черкеска, и газыри, и папаха. Козаки за свово приймають. «Какого полка?» — «Такого-то», — и йиде дальше; баба попадется, шашкой голову снесе, малая дитына — кинжалом ткнэ. Дэ мисто припадэ, с-за скирды або с-за угла козака з винтовки рушить. Все дочиста у них знае, яки части, дэ скильки, все Кожуху докладае.

— Диты чим провинилысь, несмыслени? — вздохнула баба, опираясь горько на ладонь и поддерживая локоть.

— Эй, вторая рота, чи вам уши позатыкало!..

Кто лежал, не спеша поднялись, потянулись, зевнули и пошли. Звезды над горой высыпали новые. Возле котлов расселись по земле, стали хлебать варево.

Торопливо носят ложками из ротного котла, жгутся, а каждый спешит, чтоб не отстать от других. Во рту все сварилось, тряпки на языке и с нёба свесились, и горло обожжено, больно глотать, и спешит, торопливо ныряя в дымящийся котел. Да вдруг цап с ложки — мясо поймал и в карман, после съест, и опять торопливо ныряет под завистливые искоса взгляды ныряющих ложками солдат.

XIV

Даже в темноте чувствовалось — шли толпой, буйной, шумной, и смутно белели. И говор шел с ними, возбужденный, не то обветренных, не то похмельных голосов, пересыпаемый не-

имоверно завертывающейся руганью. Те, что носили ложками из котелков, на минуту повернули головы.

— Матросня.

— Угомону на них нэма.

Подошли, и разом отборно посыпалось:

— Расперетак вас!.. Сидите тут — кашу жрете, а что революция гинет, вам начхать... Сволочи!.. Буржуи!..

— Та вы що лаетесь!.. брехуны!..

На них косо глядят, но они с ног до головы обвешаны револьверами, пулеметными лентами, бомбами.

— Куда вас ведет Кожух?!. Подумали?.. Мы революцию подымали... Вон весь флот ко дну пустили, не посмотрели на Москву. Большевики там шуры-муры с Вильгельмом завели, а мы никогда не потерпим предательства интересов народных. Ежели интересы народа пренебрег — на месте! Кто такой Кожух? Офицер. А вы — бараны. Идете, уткнув лбами. Эх, безрогие!..

Из-за костра, на котором чернел ротный котел, голос:

— Та вы со шкурами до нас присталы. Цилый бардак везетэ!

— А вам чево?! Завидно?.. Не суй носа в чужую дверь: оттяпают. Мы свою жизнь заслужили. Кто подымал революцию? Матросы. Кого царь расстреливал, топил, привязывал к канатам? Матросов. Кто с заграницы привозил литературу? Матросы. Кто бил буржуев и попов? Матросы. Вы глаза только продираете, а матросы кровь свою лили в борьбе. А как мы свою революционную кровь лили, вы же нас пороли царскими штыками. Сволочи! Куды вы годитесь, туды вас растуды!

Несколько солдат отложили деревянные ложки, взяли винтовки, поднялись, и темнота разом налилась, а костры куда-то провалились.

Винтовки легли наизготовку.

Матросы вынули револьверы, другой рукой торопливо отстегивали бомбы.

— Хлопцы, бери их!..

Седоусый украинец, проведший всю империалистическую войну на Западном фронте, бесстрашием и хладнокровием заслуживший унтера, в начале революции перебивший в своей роте офицеров, забрал губами горячую кашу, постучал ложкой, отряхая, о край котелка, вытер усы.

— Як петухи: ко-ко-ко-ко! Що ж вы не кукарекаете?

Кругом засмеялись.

— Та що ж воны глумляються! — сердито повернулись к седоусому хлопцы.

Сразу стали видны далеко уходящие костры.

Матросы засовывали револьверы в кобуры, пристегивали бомбы.

— Да нам начхать на вас, так вас растак!..

И пошли такой же шумной, взбудораженной ватагой, смутно белея в темноте, потом потонули, и уходила цепочка огней.

Ушли, но что-то от них осталось.

— Бочонкив с вином у их дуже богато.

— У козаков награбилы.

— Як, награбилы? За всэ платилы.

— Та у них грошей — хочь купайся.

— Вси корабли обобралы.

— Та що ж пропадать грошам треба, як корабли потопли? Кому от того прибыль?

— К нам у станицу як прийшлы, зараз буржуазов всех дочиста пид самый пид корень тай бедноти распределилы, а буржуазов разогналы, ково пристрелилы, ково на дерево вздернулы.

— У нас поп, — торопливо, чтобы не перебили, отозвался веселый голос, — тильки вин с паперти, а воны его трах! — и сварывся поп. Довго лежав коло церкви, аж смердить зачав, — нихто не убирае.

И веселый голос весело и поспешно засмеялся, точно и тут боялся, чтоб не перебили. И все засмеялись.

— О, бачь — звезда покатылась.

Все прислушались: оттуда, где никого не было, где была ночная неизмеримая пустыня, принесся звук, или всплеск, или далекий неведомый голос, принесся с невидимого моря.

Подержалось молчание.

— Та воны правду говорять, матросы. Ось хочь бы мы: чого мы блукаем? Жилы соби, у кажного було и хлиб и скотина, а теперь...

— Та правду ж и я говорю: пийшли за ахвицером неположенного шукаты...

— Який вин ахвицер? Такий же, як и мы с тобою.

— А почему совитска власть подмоги ниякой не дае? Сидять соби у Москви, грають, а нам хлебать, що воны заварылы.

Далеко где-то у слабо горевших костров слышались ослабленные расстоянием голоса, шум — матросы бушевали, — так и шли от костра к костру, от части к части.

XV

Ночь начала одолевать. В разных местах стали гаснуть костры, пока совсем не пропала золотая цепочка — всюду черный бархат да тишина. Нет голосов. Только одно наполняет темноту — звучно жуют лошади.

Кто-то темный торопливо пробирается среди черных неподвижных повозок, а где возможно, бежит с боку шоссе, перепрыгивая через спящие фигуры. За ним с трудом поспевает другой, такой же неузнаваемо-черный, припадая на одну ногу. Возле повозок кто-нибудь проснется, подымет голову, проводит в темноте быстро удаляющиеся фигуры.

— Чого им туточка треба? Хто такие? Або шпиены...

Надо бы встать, задержать, да уж очень сон долит, и опускается голова.

Все та же черная ночь, тишина, а те двое бегут и бегут, перепрыгивая, продираясь, когда тесно, и лошади, сторожко поводя ушами, перестают жевать, прислушиваются.

Далеко впереди и справа, должно быть, под чернеющими горами, выстрел. Одиноко и ненужно, в виду этого покоя, мирного звука жующих лошадей, в виду пустынности, отпечатался



в темноте, и уже опять тишина, а этот неслышный отпечаток все еще чудится, не растаял. Двое побежали еще быстрей.

Раз, раз, раз!.. Все там же, справа под горами. Даже среди темноты различишь, как густо чернеет разинутая пасть ущелья. Да вдруг пулемет, сам за собой не поспевая: та-та-та!.. и еще немного, договаривая недосказанное: та... та!

Подымается, чернея, одна голова, другая. Кто-то сел. Один торопливо встал и, не попадая, стал нащупывать в составленных пирамидой винтовках свою. Да так и не нащупал.

— Эй, Грицько, слышь!.. та слышь ты!

— Отчепись!

— Та слышь ты, — козаки!

— Фуу-у, бисова душа... а то в зубы дам!.. ей-бо, дам...

Тот покрутил головой, поскреб поясницу, зад, потом подошел к разостланной по земле шинели, лег, подвигал плечами, чтоб ладнее лежать...

...та-та-та...

...раз!.. раз!.. раз...

Тоненькие, как булавочные уколы, рождаются на мгновение огоньки в разинутой темноте ущелья.

— А, мать их суку! Спокою нэма. Тильки люди прийшлы с устатку, а они на! як собаки. Нехай же вам у животи такое скорежится! Анахвемы! Ну, бейся, як умиешь — до упаду, со злом, аж зубами грызи, а як на спокой люды полягалы, не трожь, все одно — ничего не зробите, так тильки патроны потратите, и квит! — а людям отдыху нэма.

Через минуту в звучное мерное лошадиное жевание вплетается звук еще одного сонного человеческого дыхания.

XVI

Тот, что бежал впереди, переводя дух, сказал:

— Та дэ ж воны?

А другой тоже на бегу:

— Туточки. Аккурат дерево, а воны на шаше, — и закричал: — Ба-бо Горпино-о!

А из темноты:

— Що?

— Чи вы тут?

— Та тут.

— Дэ повозка?

— Та тут же, дэ стоитѐ, вправо через канаву.

И сейчас же в темноте голос воркующей горлинки, вдруг зазвеневший слезами:

— Степане!.. Степане! ёго вже нэма...

Она протянула, покорно отдавая. Он взял завернутый, странно холодный, подвижной, как студень, комочек, от которого, поражая, шел тяжелый дух. Она прижала голову к его груди, и темнота вдруг засветилась звенящими, хватающими слезами, невозвратными слезами.

— Его вже нэма, Степане...

А бабы тут как тут, — на них ни устали, ни сна. Мутно проступают вокруг повозки, крестятся, вздыхают, подают советы.

— Перший раз заплакала.

— Легше буде.

— Треба молоко отсосаты, а то у голову вдарить.

Бабы наперебой щупают набрякшие груди.

— Як камень.

Потом, крестясь, шепча молитвы, прижимаются губами к ее соскам, сосут, молитвенно сплевывают на три стороны, закрещивая.

Рыли во тьме среди цепких низкоросло-колючих кустов держи-дерева, в темноте бросали лопатами землю. Потом что-то завернутое положили, потом заровняли.

— Его вже нэма, Степане...

Смутно видно, как чернеющий в темноте человек обхватил обеими руками колючее дерево, засопел носом, сдавленно, не то икая, не то гыгыкая, как мальчишки, когда давят друг из друга масло. А горлинка обвила шею руками.

— Степане!.. Степане!.. Степане!..

И опять засветились звенящие в темноте слезы:

— Нэма ёго... нэма, нэма, Степане!..

XVII

Ночь одолела. Ни огонька, ни говора. Лишь звук жующих лошадей. А потом и лошади перестали. Некоторые легли; заря скоро.

Вдоль молчаливых черных гор немо чернеет бесконечно протянувшийся лагерь.

Только в одном месте сеявшая неодолимую предутреннюю дремоту ночная темнота не могла одолеть: сквозь деревья спящего сада виднеется огонек — кто-то не спит за всех.

В громадной столовой, отделанной под дуб, с проткнутыми и разорванными по стенам дорогими картинами, в слабом озарении приклеенной восковой свечи видны наваленные по углам седла, составленные пирамиды винтовок, солдаты в мертвых странных позах храпят на разостланных по полу дорогих, с окон, занавесях и портьерах, и стоит тяжелый потный человечий и лошадиный дух.

Узко и черно смотрит в дверях пулемет.

Нагнувшись над великолепным дубовым резным столом, длинной громадой протянувшимся посреди столовой, Кожух вцепился маленькими глазками, от которых не вывернешься, в разостланную на столе карту. Мерцает церковный огарок, капая стынущим воском, и живые тени торопливо шевелятся по полу, по стенам, по лицам.

Над синим морем, над хребтами, похожими на лохматых сороконожек, наклоняется адъютант, вглядываясь.

Стоит в ожидании ординарец с подсумком, с винтовкой за спиной, с шашкой сбоку, и на нем все шевелится от шевелящихся теней.

Огарок на минутку замирает, и тогда все неподвижно.

— Вот, — тычет адъютант в сороконожку, — с этого ущелья еще могут насесть.

— Сюда не прорвутся — хребет стал высокий, непроходимый, и им с той стороны до нас не добраться.

Адъютант капнул себе на руку горячим воском.

— Только бы дойти нам до этого поворота, там уж не долезут. Иттить треба з усией силы.

— Жрать нечего.

— Все одно, стоять — хлеба не родим. Ходу — одно спасение. За командирами послано?

— Зараз вси придуть, — шевельнулся ординарец, и лицо его, шея быстро заиграли мерцающими тенями.

Только в громадных окнах неподвижно чернела ночная чернота.

Та-та-та-та... — где-то далеко перекликнется в чернеющих ущельях, и опять ночь наливается угрозой.

Тяжелые шаги по ступеням, по веранде, потом в столовой, казалось, несут эту угрозу или известие о ней. Даже скудно мерцающий огарок озарил, как густо запылены вошедшие командиры, и от усталости, от жары, от непрерывного похода все на лицах у них высовывалось углами.

— Що там? — спросил Кожух.

— Прогнали.

В громадной, едва озаренной столовой было смутно, неясно.

— Да им взяться нечем, — сказал другой заветренным, сиповатым голосом. — Кабы орудия имели, а то один пулемет вьюком.

Кожух окаменел, надвинул на глаза ровный обрез лба, и все поняли — не в нападении казаков дело.

Сгрудились около стола, кто курил, кто жевал корку, кто, не вникая, устало глядел на карту, так же смутно и неясно расстилавшуюся на столе.

Кожух процедил сквозь зубы:

— Приказы не сполняете.

Разом зашевелились мигающие тени по усталым лицам, по запыленным шеям; столовая наполнилась резкими, привыкшими к приказаниям на открытом воздухе голосами:

— Загнали солдат...

— Та у меня часть, не подымешь ее теперь...

— А у меня, как пришли, завалились и костров не разводили, как мертвые.

— Разве мыслимо итти такими переходами, — этак и армию погубить невдолге...

— Плевое дело...

Лицо Кожуха неподвижно. Из-под насунутого черепа маленькие глаза не глядели, а ждали, прислушиваясь. В громадно распахнутых окнах неподвижная чернота, а за ней ночь, полная усталости, задремавшего тревожного напряжения. Выстрелов со стороны ущелья не слышно. Чувствовалось, что там темнота еще гуще.

— Я во всяком случае не намерен рисковать своей частью! — гаркнул полковник, как будто скомандовал. — На мне моральная ответственность за жизнь, здоровье, судьбу вверенных мне людей.

— Совершенно верно, — сказал бригадный, выделяясь своей фигурой, уверенностью, привычкой отдавать приказания.

Он был офицер армии и теперь чувствовал — настал, наконец, момент проявить всю силу, все заложенное в нем дарование, которое так неразумно, нерасчетливо держали под спудом заправилы царской армии.

— ...совершенно верно. К тому же план похода совершенно не разработан. Расположение частей должно быть совсем иное, — нас каждую минуту могут перерезать.

— Да приведись до меня, — запальчиво подхватил стройно и тонко перетянутый в черкеске, с серебряным кинжалом наискосок у пояса, в лихо заломленной папахе командир кубанской сотни, — приведись до меня, будь я от козаков, зараз налетел бы з ущелья, черк! — и орудия нэма, поминай, как звали.

— Наконец, ни диспозиций, ни приказов, — что же мы — орда или банда?

Кожух медленно сказал:

— Чи я командующий, чи вы?

И это нестираемо отпечаталось в громадной комнате, — маленькие тонко колючие глазки Кожуха ждали, — только нет, не ответа ждали.

И опять зашевелились тени, меняя лица, выражения.

И опять заветренные, излишне громкие в комнате, голоса:

— На нас, командирах, тоже лежит ответственность — и не меньшая.

— Даже в царское время с офицерами совещались в трудные моменты, а теперь революция.

А за словами стояло:

«Ты прост, приземист, нескладно скроен, земляной человек, не понимаешь, да и не можешь понять всей сложности положения. Дослужился до чина на фронте. А на фронте, за убылью настоящих офицеров, хоть мерина произведут. Массы поставили тебя, но массы ведь слепы...»

Так говорили глазами, выражением лица, всей своей фигурой бывшие офицеры армии. А командиры — бондари, столяры, лудильщики, парикмахеры — говорили:

«Ты из нашего же брата, а чем ты лучше нас? Почему ты, а не мы? Мы еще лучше тебя управимся с делом...»

Кожух слушал и тот и другой разговор, и словами и за словами, и с все так же сощуренными глазками прислушивался к темноте за окнами — ждал.

И дождался.

Среди ночи где-то далеко родился слабый глухой звук. Больше и больше, яснее и яснее; медленно, все нарастая глухо, тяжело и неуклюже наполнилась ночь отдававшимся шагом шедших во мраке. Вот шаги докатились до ступеней, на минуту потеряли ритм, расстроились и стали вразбивку, как попало, подыматься на веранду, залили ее, и в смутно озаренную столовую через широко распахнутые, черно глядевшие двери непре-

рывным потоком полились солдаты. Они все больше и больше наполняли столовую, пока не залили ее всю. Их с трудом можно было разглядеть, чувствовалось только — было их много, и все



одинаковы. Командиры сгрудились у того конца стола, где разостлана карта. С трудом мерцает огарок.

Солдаты в полумгле откашливаются, сморкаются, сплевывают на пол, затирают ногой, курят цыгарки, вонючий дым невидимо расползается над смутной толпой.

— Товарищи!..

Громадная комната, полная людей и полутьмы, налилась тишиной.

— Товарищи!..

Кожух с усилием протискивал сквозь зубы слова:

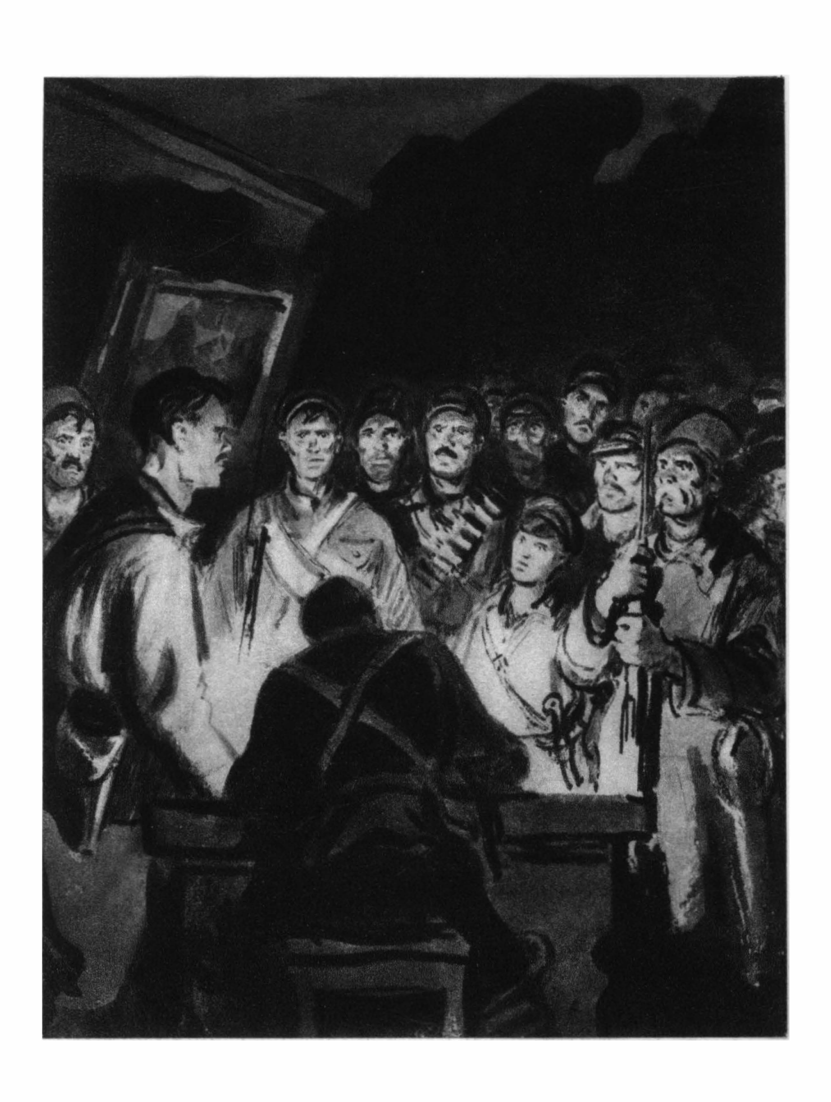
— Вы, товарищи, представители рот, и вы, товарищи командиры, щоб вы знали, в яком мы положении. Сзади город и порт заняты козаками. Красных солдат там оставалось раненых и больных двадцать тысяч, и все двадцать тысяч истреблены козаками по приказанию офицеров; то же готовят и нам. Козаки наседают на наш арьергард в третьей колонне. С правой стороны у нас море, с левой — горы. Промежду ними — диря, мы в дире. Козаки бегут за горами, в ущельях прорываются до нас, а нам отбиваться кажную минуту. Так и будут наседать, пока не уйдем до того миста, где хребет поворачивает от моря,—там горы высоко и широко разляглысь, козакам до нас не добраться. Так дойтить нам коло моря до Туапсе, от сего миста триста верст. Там через горы проведено шоссе, по нем и перевалим опять на Кубань, а там—наши главные силы, наше спасение. Надо иттить з усией силы. Провианту у нас тильки на пять дней, вси подохнем с голоду. Иттить, иттить, иттить, бежать, бегом бежать, ни спаты, ни пыты, ни исты, тильки бежать з усией силы— в этом спасение, и пробивать дорогу, колы хтось загородить!

Он замолчал, не обращая ни на кого внимания.

Стояла тишина в комнате, наполненной людьми и последними тенями догорающего огарка; стояла такая же тишина в громаде ночи за черными окнами и над громадой невидимого и неслышимого моря.

Сотня глаз невидимым, но чувствуемым блеском освещала Кожуха. И опять сквозь стиснутые зубы белела у него слегка пузырившаяся слюна.

— Хлеба и фуража по дороге нэма, треба битты бегом до выхода на равнину.



Он опять замолчал, опустив глаза, потом сказал, протискивая:

— Выбирайте соби другого командующего, я слагаю командование.

Огарок догорел, и покрыла ровная темь. Осталась только неподвижная тишина.

— Нету, что ли, больше свечки?

— Есть, — сказал адъютант, чиркая спички, которые то вспыхивали, и тогда выступала сотня глаз, так же неподвижно, не отрываясь, смотревших на Кожуха, то гасли — и все мгновенно тонуло. Наконец тоненькая восковая свечка затеплилась, и это как будто развязало: заговорили, задвигались, опять стали откашливаться, сморкаться, харкать, растирать ногой, оглядываясь друг на друга.

— Товарищ Кожух, — заговорил бригадный голосом, которым как будто никогда не командовал, — мы все понимаем, какие трудности, огромные препятствия у нас на пути. Сзади — гибель, но и спереди гибель, если мы задержимся. Необходимо итти с наивозможной быстротой. И только вы вашей энергией и находчивостью сможете вывести армию. Это, надеюсь, и мнение всех моих товарищей.

— Верно!.. правильно... просим!.. — поспешно откликнулись все командиры.

Сотня блестящих в полутьме солдатских глаз так же упорно смотрела на Кожуха.

— Як же ж вам отказуваться, — сказал командир конного отряда, убедительно сдвигая папаху на самый затылок, так что она почти сваливалась, — як вас выбрала громада.

Блестящими глазами молча смотрели солдаты.

Кожух глянул непримиримо из-под все так же насунутого черепа.

— Дòбре, товарищи. Ставлю одно непременное условие, подпишитесь: хочь трошки неисполнение приказания — расстрел. Подпишитесь.

— Так что ж, мы...

— Да зачем?..

— Да отчего не подписаться...

— Мы и так всегда... — на разные голоса замялись командиры.

— Хлопцы! — железно стискивая челюсти, сказал Кожух, — хлопцы, як вы мозгуете?

— Смерть! — грянула сотня голосов и не поместилась в столовой, — гаркнуло за распахнутыми черными окнами, только никто там не слыхал.

— К расстрелу!.. Мать его так... Хиба ж ему у зубы смотреть, як вин не сполняе приказания... Бей их!

Солдаты, точно обруч расскочился, опять зашевелились, поворачиваясь друг к другу, размахивая руками, сморкаясь, толкая один другого, торопливо докуривая и задавливая ногами цыгарки.

Кожух, сжимая челюсти, сказал, втискивая в мозги:

— Кажный, хтось нарушит дисциплину, хочь командир, хочь рядовой, подлежит расстрелу.

— К расстрелу!.. расстрелять сукиных сынов, хочь командир, хочь солдат, однаково!.. — опять с азартом гаркнула громадная столовая, и опять тесно,— не поместились голоса и вырвались в темноту.

— Добре. Товарищ Иванько, пишите бумажку, нехай подписуются командиры: за самое малое неисполнение приказа али за рассуждение — к расстрелу без суда.

Адъютант достал из кармана обрывок бумажки и, примостившись у самого огарка, стал писать.

— А вы, товарищи, по местам. Объявите в ротах о постановлении: дисциплина — железная, пощады никому...

Солдаты, толпясь, толкаясь и приканчивая цыгарки, стали вываливаться на веранду, потом в сад, и голосами их все дальше и дальше оживала темнота.

Над морем стало белеть.

Командиры вдруг почувствовали — с них свалилась тяжесть, все определилось, стало простым, ясным и точным; перекидывались шутками, смеялись, по очереди подходили, подписывались под смертным приговором.

Кожух, с все так же ровно надвинутым на глаза черепом, коротко отдавал приказания, как будто то, что сейчас происходило, не имело никакого отношения к тому важному и большому, что он призван делать.

— Товарищ Востротин, возьмите роту и...

Послышался топот скачущей лошади и прервался у веранды. Слышно, как лошадь — должно быть, ее привязывали — фыркала и громко встряхивалась, звеня стременами.

В смутной мерцающей полумгле показался кубанец в папахе.

— Товарищ Кожух, — проговорил он, — вторая и третья колонны остановились на ночлег в десяти верстах сзади. Командующий приказывает, щоб вы дожидались, як их колонны пидтянутся до вас, щоб вмистях иттить...

Кожух глядел на него неподвижно каменными чертами.

— Ще?

— Матросы ходють кучками по солдатам, по обозам, горлопанят, сбивають, щоб не слухали командиров, щоб сами солдаты командували; кажуть, треба убить Кожуха...

— Ще?

— Козаки выбиты из ущелья. Наши стрелки пиднялись по ущелью, погналы их на ту сторону, теперь тихо. Наших трое ранены, один убитый.

Кожух помолчал.

— Добре. Иды.

А уж в столовой стали яснее и лица и стены. В раме картины тронулось синевой чудесно сотворенное кистью море; в раме окна чуть тронулось чудесное засиневшее живое море.

— Товарищи командиры, через час выступить всем частям. Иттить наискорийше. Останавливаться тильки, щоб людям напиться и лошадей напоить. В кажном ущельи выставлять цепь стрелков с пулеметом. Не давать частям отрываться одна от другой. Наистрого следить, щоб жителей не обиждали. Доносить мне наичаще верховыми о состоянии частей!..

— Слушаем! — загудели командиры.

— Вы, товарищ Востротин, выведите вашу роту в тыл, отрежьте матросов и не допускайте иттить с нами, нехай с тими колоннами идуть.

— Слухаю.

— Захватите пулеметы, и колы що — строчите по них.

— Слухаю.

Командиры гурьбой пошли к выходу.

Кожух стал диктовать адъютанту, кого из них совсем отставить от командования, кого переместить, кому дать высшее назначение.

Потом адъютант сложил карту и вышел вместе с Кожухом.

В громадной опустелой комнате с заплеванным, в окурках, полом забыто мигал, краснея, огарок и стояла тишина и тяжелый после людей дух, и дерево под светильней начинало чернеть и коробиться и легонько дымиться. Ни винтовок, ни седел уже не было.

В громадно распахнутых дверях тонко курилось предутренним синеватым куревом море.

Вдоль берега, вдоль гор, далеко впереди и назади, как горох, сыпались барабаны, будя. Где-то заиграли трубы, точно странное гоготание стаи медных лебедей, и медь отозвалась под горами, и в ущельях, и у берега, и умерла на море, потому что оно открылось безбрежно. Над только что брошенной чудесной виллой подымался громадный столб дыма, — забытый огарок не зевал.

XVIII

Вторая и третья колонны, шедшие за колонной Кожуха, далеко отстали. Никто не хотел напрягаться — жара, усталость. Рано становились на ночлег, поздно выступали утром. Пусто белевший простор по шоссе между головной и задними колоннами становился все больше и больше.

Когда останавливались на ночлег, лагерь точно так же протягивался на много верст вдоль шоссе между горами и берегом. Точно так же запыленные, усталые, заморенные зноем люди, как только дорывались до отдыха, весело раскладывали костры; слышался смех, шутки, говор, гармоника; разливались милые украинские песни, то ласковые, задушевные, то грозные и гневные, как история этого народа.

Точно так же между кострами ходили увешанные бомбами, револьверами, прогнанные из первой колонны матросы, площадно ругаясь, говорили:

— Бараны вы, ай кто? За кем идете? За золотопогонщиком царской службы. Кто такой Кожух? Царю служил? Служил, а теперь в большевики переделался. А вы знаете, кто такие большевики? Из Германии в запломбированных их привезли на разведку, а в России дураков нашлось, лезут за ними, как из квашни опара. А вы знаете, у них соглашение с Вильгельмом? А-а, то-то, бараны стоеросовые! Россию губите, народ губите. Нет, мы социалисты-революционеры, ни на что не посмотрели: нам большевистское правительство из Москвы распоряжение — выдать немцам флот. А мы его потопили, — накось, выкуси! ишь чего захотели... Вы вот, шпана, стадо, ничего не знаете, идете, нагнув голову. А у них тайное соглашение. Большевики продали Вильгельму Россию со всей требухой; цельный поезд золота из Германии получили. Сволочь вы шелудивая, так вас разэтак!

— Так вы чего лаетесь, як псы! Подите вы вон пид такую мать...

Солдаты ругались, но когда матросы уходили, начинали по их следам:

— Та що ж, що правда, то правда... Матросня хочь брехливый народ, а правду говорять. Чого ж балшевики нам не помогають? Козаки навалились, чого ж з Москвы подмоги не шлють — об себе тильки думають.



Из чернеющего даже среди темноты ущелья точно так же послышались выстрелы, и в разных местах на секунду вспыхивали и гасли огоньки, немножко потрещал пулемет, и лагерь медленно и громадно стал погружаться в тишину и покой.

И точно так же в пустой даче, выходившей верандой на невидимое море, собрался командный состав обеих колонн. Не открывали собрания, пока верховой во весь опор не прискакал и не подал стеариновых свечей, добытых в поселке. Так же на обеденном столе разостлана карта, паркетный пол в окурках, на стенах сиротливо и разорванно дорогие картины.

Смолокуров, громадный, чернобородый, добродушный, не знающий, куда девать физическую силу, сидит в белой матроске, расставив ноги, прихлебывает чай. Командиры частей кругом.

По тому, как курили, перебрасывались, давили ногой папиросы, чувствовалось — не знали, с чего начать.

И точно так же каждый из собравшихся считал себя призванным спасти эту громадную массу, вывести ее.

Куда?

Положение смутное, неопределенное. Что ждет впереди? Одно знали: сзади — гибель.

— Нам необходимо выбрать общего начальника над всеми тремя колоннами, — сказал один из командиров.

— Верно!.. правильно! — загудели.

Каждый хотел сказать:

«Разумеется, меня выбрать», — и не мог сказать.

А так как все этого хотели, то молчали, не глядя друг на друга, и курили.

— Надо ж в конце концов что-нибудь делать, надо же когонибудь выбирать. Я — Смолокурова предлагаю.

— Смолокурова!.. Смолокурова!..

Вдруг из неопределенности был найден выход. Каждый думал: «Смолокуров — отличный товарищ, рубаха-парень, беззаветно предан революции, голосище у него за версту, уж больно хорошо на митингах ревет, а на этом деле голову свернет, тогда... тогда, конечно, ко мне обратятся...»

И все опять дружно закричали:

— Смолокурова!.. Смолокурова!..

Смолокуров растерянно развел громадными руками.

— Да я, что... я... сами знаете, я по морской части, там хоть дредноут сверну, а тут сухопутье.

— Смолокурова!.. Смолокурова!..

— Ну да что, я... хорошо... возьмусь, только помогайте вы все, братцы, а то что ж это выходит, я — один... Ну, хорошо. Завтра выступать, — пишите приказ.

Все отлично знали, пиши — не пиши приказы, а больше делать нечего, как волочиться дальше, — не стоять же на месте и не итти назад к казакам на гибель. И все понимали, что и им делать нечего, разве только дожидаться, когда Смолокуров

запутается и своими распоряжениями свернет себе шею. Да и свернуть-то нечем — тащись и тащись за кожуховой колонной.

И кто-то сказал:

— Кожуху надо приказ послать — выбран новый командующий.

— Да ему все одно, он свое будет, — загудели кругом.

Смолокуров треснул кулаком, и под картой застонали доски стола.

— Я заставлю подчиниться, я ззаставлю! Он и к городу ушел с своей колонной, позорно бежал. Он должен был остаться и биться, чтобы с честью лечь костьми.

Все на него смотрели. Он поднялся во весь свой громадный рост, и не столько слова, сколько могучая фигура с красиво протянутой рукой были убедительны. Вдруг почувствовали — выход найден: кругом виноват Кожух. Он бежит вперед, не дает никому проявить себя, использовать вложенные в нем силы, и все напряжение, все внимание нужно на борьбу с ним.

Закипела работа. К Кожуху поскакал, догоняя среди ночи, ординарец. Сорганизовали штаб. Извлекли машинки, составили канцелярию, заработала машина.

Стали выстукивать обращение к солдатам с целью их воспитания и организации:

«Мы, солдаты, не боимся врага...»

«Помните, товарищи, что нашей армии трудности нипочем...»

Эти приказы размножались, читались в ротах, эскадронах. Солдаты слушали неподвижно, не сводя глаз, потом с большими усилиями, всякими хитростями, иногда с дракой доставали приказ, расправляли на колене, свертывали собачью ножку и закуривали.

Кожуху тоже посылали приказы, но он каждый день уходил все дальше и дальше, и все больше пустым пространством ложилось между ними безлюдное шоссе. И это раздражало.

— Товарищ Смолокуров. Кожух вас в грош не ставит, прет себе и прет, — говорили командиры, — и в ус не дует на все наши приказы.

— Да что вы с ним поделаете, — добродушно смеялся Смолокуров, — я что ж, я по сухопутному не могу, я по морской части...

— Да вы ж командующий всей армией, вас же ведь выбрали, а Кожух — ваш подчиненный.

Смолокуров с минуту молчит, потом вся его громадная фигура наливается гневом:

— Хорошо, я его сокращу!.. Я ссокращу!..

— Что же мы плетемся у него в хвосте! Нам необходимо самим выработать план, наш собственный план. Он хочет берегом дойти до перевальной шоссейной дороги, которая от моря через горы в кубанские степи идет, а мы двинемся сейчас вот отсюда, через хребет, через Дофиновку,— тут старая дорога через горы, и будет короче.

— Послать немедленно приказ Кожуху, — загремел Смолокуров, — чтоб ни с места с своей колонной, а самому немедленно явиться сюда на совещание! Движение армии пойдет отсюда через горы. Если не остановится, прикажу артиллерией разгромить его колонну..

Кожух не явился и уходил все дальше и дальше и был недосягаем.

Смолокуров приказал сворачивать армии в горы. Тогда его

начальник штаба, бывший в академии и учитывавший положение, когда не было командиров, при которых Смолокуров становился на дыбы, осторожно — Смолокуров был невероятно упрям — сказал:

— Если мы пойдем тут через хребет, потеряем в невылазных горах все обозы, беженцев и, главное, всю артиллерию, — ведь тут тропа, а не дорога, а Кожух правильно поступает: идет до того места, где через хребет шоссе. Без артиллерии казаки нас голыми руками заберут, да к тому же разобьют по частям — отдельно Кожуха, отдельно нас.

Хоть это было ясно, но не это было убедительно. Было убедительно то, что начальник штаба говорил очень осторожно и предупредительно по отношению к Смолокурову, что за начальником — военная академия и что он этим не кичится.

— Отдать распоряжение двигаться дальше по шоссе, — нахмурился Смолокуров.

И опять шумными беспорядочными толпами потекли солдаты, беженцы, обозы.

XIX

Как всегда, в кожуховой колонне, остановившейся на ночлег среди темноты, вместо сна и отдыха — говор, балалайки, гармоники, девичий смех. Или, заполняя ночь и делая ее живой, разольются стройные, налаженные голоса, полные молодой упругости, тайного смысла, расширяющей силы:

Ре-вуть, сто-гнуть го-о-ры хви-и-ли
В си-не-сень-ким мо-о-ри...
Пла-чуть, ту-жать ко-за-чень-ки
В ту-рец-кий не-во-о-ли...

То вздымаясь, то опускаясь. И не море ли мерно подымается и опускается волнами молодых голосов? И не в темноте ли

ночи разлилась нудьга, — тужать козаченьки, тужать молодые. И не про них ли, не они ли вырвались из неволи офицерья, генералов, буржуев, и не они ли идут биться за волю? И не печаль ли разлилась, печаль-радость в живой, переполненной напряжением темноте?

В си-не-сень-ким мо-о-ри...

А море тут же, внизу, под ногами, но молчит и невидимо.

И, сливаясь с этой радостью-печалью, тонко зазолотились края гор. От этого еще чернее, еще траурнее стоят их громады, — тонко зазолотились зубчатые изломы гор.

Потом через седловины, через расщелины, через ущелья длинно задымился лунный свет, и еще чернее, еще гуще потянулись рядом с ним черные тени от деревьев, от скал, от вершин, — еще траурнее, непрогляднее.

Тогда из-за гор вышла луна, щедро глянула, и мир стал иной, а хлопцы перестали петь. И стало видно — на камнях, на сваленных деревьях, на скалах сидят хлопцы и дивчата, а под скалами море, и на него не можно смотреть — до самого до края бесконечно струится, переливается холодное расплавленное золото. Нестерпимо смотреть.

— Хтось дыше, — сказал кто-то.

— А вот кажуть, все это бог сделал.

— А почему такое — поедешь прямо, в Румынию приедешь, а то в Одест, а то в город Севастополь, — куда конпас повернул, туда и приедешь?

— А у нас, братцы, на турецком, бывалыча, как бой, так поп молебны зараз качает. А сколько ни служил, нашего брата горы клали.

Прорываются все новые дымчато-синеватые полосы, ложатся по крутизне, ломаются по уступам, то выхватят угол белой скалы, то протянутые руки деревьев или обрыв, изъеденный расщелинами, и все резко, отчетливо, живое.

По шоссе шум, говор, гул шагов, и, как проклятие, брань, густая матерная брань.

Все подняли головы, повернули...

— Хтось такие? Какая там сволочь матюкается, мать их так!

— Та матросня неположенного ищет.

Матросы шли огромной беспорядочной гурьбой, то заливаемые лунным светом, то невидимые в черной тени, и, как смрадное облако, шла над ними, не продыхнешь, подлая ругань. Стало скучно. Хлопцы, дивчата почувствовали усталость и, потягиваясь и зевая, стали расходиться.

— Треба спаты.

С гамом, с шумом, с ругней пришли матросы к скалистому уступу. В мрачной лунной тени стояла повозка, а на ней спал Кожух.

— Куды вам?!— загородили дорогу винтовками два часовых.

— Где командующий?

А Кожух уже вскочил, и над повозкой в черноте загорелись два волчьих огонька. Часовые взяли наизготовку:

— Стрелять будем!

— Што вам надо? — голос Кожуха.

— А вот мы пришли до вас, командующий. У нас вышел весь провиянт. Что же нам — с голоду издыхать?! Нас пять тысяч человек. Всю жизнь на революцию положили, а теперь с голоду издыхать!

Не видно было лица Кожуха, в такой черной тени стоял, но все видят: горят два волчьих огонька.

— Становитесь в ряды армии, выдадим винтовки, зачислим на довольствие. Продовольствие у нас на исходе. Мы не можем никого кормить, кроме бойцов под ружьем, иначе не пробьемся. Бойцам — и тем всем порции уменьшены.

— А мы не бойцы? Что вы нас силком загоняете? Мы сами знаем, как поступить. Когда надо будет драться, не хуже, а лучше вас будем биться. Не вам учить нас, старых револю-

ционеров. Где вы были, когда мы царский трон раскачивали? В царских войсках вы офицерами служили. А теперь нам издыхать, как отдали все революции, — кто палку взял, тот у вас и капрал! Вон в городе наших полторы тысячи легло, офицерье живыми в землю закопали, а...

— Ну, да ведь энти легли, а вы тут с бабами...

Заревели матросы, как стадо диких быков:

— Нам, борцам, глаза колоть!..

Ревут, машут перед часовыми руками, да волчьи огоньки не обманешь, — видят, все видят они: тут ревут и машут руками, а по сторонам, с боков, сзади пробираются отдельные фигуры, согнувшись перебегая мутно-голубые лунные полосы, и на бегу отстегивают бомбы. И вдруг ринулись со всех сторон на окруженную повозку.

В ту же секунду: та-та-та-та...

Пулемет в повозке засверкал. И как он послушен этому звериному глазу в этих перепутавшихся полосах черноты и дымно-лунных пятен, — ни одна пуля не задела, а только страшно зашевелил ветер смерти матросские фуражки. Все кинулись врассыпную.

— Вот дьявол!.. Ну, и ловок!.. Таких бы пулеметчиков...

На громадном пространстве спит лунно-задымленный лагерь. Спят задымленные горы. И через все море судорожно переливается дорога.

XX

Не успело посветлеть небо, а уже голова колонны далеко вытянулась, поползла по шоссе.

Направо все тот же голубой простор, налево густо громоздятся лесистые горы, а над ними пустынные скалы.

Из-за скалистых хребтов выплывает разгорающийся зной. По шоссе те же облака пыли. Тысячные полчища мух неот-

ступно липнут к людям, к животным, — свои, кубанские степные мухи преданно сопровождают отступающих от самого дома, ночуют вместе и, чуть зорька, подымаются вместе.

Извиваясь белой змеей, вползает клубящееся шоссе в гущу лесов. Тишина. Прохладные тени. Сквозь деревья — скалы. Несколько шагов от шоссе, и не продерешься — непролазные дебри; все опутано хмелем, лианами. Торчат огромные иглы держи-дерева, хватают крючковатые шипы невиданных кустарников. Жилье медведей, диких кошек, коз, оленей, да рысь по ночам отвратительно кричит по-кошачьи. На сотни верст ни следа человеческого. О казаках и помину нет.

Когда-то разбросанно по горам жили тут черкесы. Вились по ущельям и в лесах тропки. Изредка, как зернышки, серели под скалами сакли. Среди девственных лесов попадались маленькие площадки кукурузы, либо в ущельях у воды небольшие, хорошо разделанные сады.

Лет семьдесят назад царское правительство выгнало черкесов в Турцию. С тех пор дремуче заросли тропинки, одичали черкесские сады, на сотни верст распростерлась голодная горная пустыня, жилье зверя.

Хлопцы подтягивают все туже веревочки на штанах, — все больше съеживаются выдаваемые на привалах порции.

Ползут обозы; тащатся, держась за повозки, раненые; качаются ребячьи головенки; натягивают постромки единственного орудия тощие артиллерийские кони.

А шоссе, шаловливо свернувшись петлей, извилисто спускается к самому морю. По голубой беспредельности легла — смотреть больно — ослепительно переливающаяся солнечная дорога.

Прозрачные, стекловидные, еле приметные морщины неуловимо приходят откуда-то издалека и влажно моют густо усыпанную по берегу гальку.

Громада ползет по шоссе, не останавливаясь ни на минуту, а хлопцы, дивчата, ребятишки, раненые, кто может, сбегают под

откос, сдергивают на бегу тряпье штанов, рубашонки, юбки, торопливо составляют в козлы винтовки, с разбегу кидаются в голубоватую воду. Тучи искр, сверкание, вспыхивающая радуга. И взрывы такого же солнечно-искрящегося смеха, визг, крики, восклицания, живой человеческий гомон, — берег осмыслился.

Море — нечеловечески-огромный зверь с ласково-мудрыми морщинами — притихло и ласково лижет живой берег, живые желтеющие тела в ярком движении сквозь взрывы брызг, крика, гоготанья.

Колонна ползет и ползет.

Одни выскакивают, хватают штаны, рубахи, юбки, винтовки и бегут, зажав подмышкой провонялую одежду, и капли жемчужно дрожат на загорелом теле, и, догнав своих, под веселое улюлюканье, гоготанье, скоромные шутки, торопливо вздевают, на шоссе, пропотелое тряпье.

Другие жадно сбегают вниз, на ходу раздеваются, кидаются в гомон, брызги, сверканье, и притихший зверь теми же набегающими старыми прозрачными морщинами ласково лижет их тела.

А колонна ползет и ползет.

Забелели дачи, забелели домики местечка, редко разбросанные по пустынному берегу. Сиротливо растянулись вдоль шоссе. Все жмется к узкому белому полотну — единственная возможность передвижения среди лесов, скал, ущелий, морских обрывов.

Хлопцы торопливо забегают на дачи, все обшарят, — пусто, безлюдно, заброшенно.

В местечке коричневые греки с большими носами, черносливовыми глазами, замкнуты, молчат с затаенной враждебностью.

— Нету хлеба... Нету... сами сидим голодные...

Они не знают, кто эти солдаты, откуда, куда и зачем идут, не расспрашивают и замкнуто враждебны.

Сделали обыск — действительно, нет. А по роже видно, что спрятали. За то, что это не свои, а грекосы, позабрали всех коз, как ни кричали черноглазые гречанки.

В широком, отодвинувшем горы ущельи — русская деревня, неведомо как сюда занесенная. По дну извилисто поблескивает речонка. Хаты. Скот. По одному склону желтеет жнивье, пшеницу сеют. Свои, полтавцы, балакают по-нашему.

Поделились, сколько могли, и хлебом и пшеном. Расспрашивают, куда и зачем. Слыхали, что спихнули царя и пришли большевики, а як воно, що — не знают. Рассказали им все хлопцы, и хоть и жалко было, ну, да ведь свои — и позабрали всех кур, гусей, уток под вой и причитанье баб.

Колонна тянется мимо, не останавливаясь.

— Жрать охота, — говорят хлопцы и еще туже затягивают веревочки на штанах.

Шныряют эскадронцы по дачам, шарят и на последней даче нашарили граммофон и целую кучу пластинок. Приторочили к пустому седлу, и среди скал, среди лесной тишины, в облаках белой пыли понеслось:

— бло-ха... ха-ха!.. бло-ха... — чей-то шершавый голос, будто и человеческий и нечеловеческий.

Ребята шагали и хохотали как резаные.

— А ну, ну, ще! Закруты ще блоху!

Потом ставили по порядку: «Выйду ль я на реченьку...», «Не искушай...», «На земле весь род людской...»

А одна пластинка запела: «Бо-оже, ца-ря храни...»

Кругом загалдели...

— Мать его в куру совсем!..

— Надень его себе на...!

Пластинку выдрали и кинули на шоссе под бесчисленные шаги идущих.

С этих пор граммофон не знал ни минуты покоя и, хрипя и надрываясь, с ранней зари и до глубокой ночи верещал романсы, песни, оперы. Переходил он по очереди от эскадрона к эскадрону, от роты к роте, и когда задерживали, дело доходило до драки. Общим любимцем стал граммофон, и к нему относились, как к живому.

XXI

Пригнувшись к седлу, сбив папаху на самый затылок, скакал по краю шоссе навстречу двигающимся кубанец, крича:

— Дэ батько?

А лицо потное, и лошадь тяжело носит мокрыми боками.

Облака над лесистыми горами вылезли огромные, круглые, блестяще-белые и глядят на шоссе.

— Мабуть, гроза буде.

Где-то за поворотом шоссе стала голова колонны. Ряды пехоты, сходясь и густея, останавливались; наезжая на задки телег и задирая лошадям морды, останавливался обоз, и эта остановка побежала, передаваясь в хвост.

— Що таке! Ще рано привал.

Бегучее потное лицо кубанца, торопливо носящая боками лошадь, неурочная остановка разлились тревогой, неопределенностью. Разом придавая всему зловещий смысл и значение, где-то далеко впереди слабо раздались выстрелы — и смолкли. Звук их отпечатался в наступившей тишине и уже не стирался.

Граммофон смолк. Торопливо проехал в бричке в голову колонны Кожух. Потом оттуда прискакали конные и, нечеловечески матерно ругаясь, загородили дорогу.

— Геть назад!.. стрелять будемо!.. Щоб вы подохли тут до разу!..

— ...Вам говорять... Там бой зараз буде, а вы лизите. Не приказано. Кожух стрелять по вас звелив.

Сразу все налилось тревогой. Бабы, старики, старухи, дивчата, ребятишки подняли плач и крик.

— Та куде же мы? Та що ж вы нас гоните, що нам робыты? И мы з вами. Колы смерть, так одна.

Но конные были неумолимы.

— Кожух звелив, щоб пьять верстов було промеж вами и солдатами, а то мешаете, драться не даете.

— Та чи мы не ваши? Там же мий Иван.

— А мий Микита.

— А мий Опанас.

— Вы уйдете, а мы останемся, — спокинете нас.

— Та вы задом думаете, чи як? Вам сказано: за вас же бьются. Як расчистють дорогу, то и вы пийдете по шаше за нами. А то мешаете, бой буде.

Повозки, сколько видно, грудятся друг на друга. Столпились пешие, раненые; мечется бабий вой. Запруживая все шоссе на десятки верст, замер обоз. Мухи обрадовались и густо чернеют на лошадиных спинах, боках, шеях; облепили ребятишек; и лошади отчаянно мотают головами, бьют копытом под пузо. Сквозь листву синеет море. Но все видят только кусок шоссе,

загороженный конными, а за конными стоят солдатики, свои же хлопцы с винтовками, такие близкие, такие родные. То сидят, то свертывают цыгарки из листьев широкой травы и насыпают сухую же траву.

Вот шевельнулись, лениво подымаются, тронулись, и все шире и шире открывается шоссе, и эта уширяющаяся полоса, над которой пустынно садится пыль, таит угрозу и несчастье.

Конные неумолимы. Проходит час, другой. Пустое шоссе впереди тягостно белеет, как смерть. Бабы с набрякшими глазами всхлипывают и причитают. Сквозь деревья голубеет море, а на море из-за лесных гор смотрят облака.

Неведомо где упруго и кругло всплывает орудийный удар, другой, третий. Загрохотал залп и пошел раскалываться и грохотать по горам, по лесам, по ущельям. Мертво и бесстрастно потянул дробную строчку пулемет.

Тогда все, сколько ни было кнутов, стали отчаянно хлестать лошадей. Лошади рванулись, но конные, сверхъестественно ругаясь, со всего плеча стали крестить нагайками лошадей по морде, по глазам, по ушам. Лошади, храпя, крутя головами, раздувая кровавые ноздри, выкатив круглые глаза, бились в дышлах, вскидывались на дыбы, брыкались. А сзади подбегали от других повозок, нечеловечески улюлюкали, брали в десятки кнутов; ребятишки визжали, как резаные, секли хворостинами по ногам, по пузу, стараясь побольнее; бабы истошно кричали и изо всех сил дергали вожжами, раненые возили по бокам костылями.

Обезумевшие лошади бешено рванули, смяли, опрокинули, разметали конных и, вырываясь из худой сбруи, в ужасе храпя, понеслись по шоссе, вытянув шеи, прижав уши. Мужики вскакивали в телеги; раненые, держась за грядки, бежали, падали, волочились, отрывались, скатывались в шоссейные канавы.

В белесо крутящихся клубах несся грохот колес, нестерпимое дребезжание подвешенных ведер, отчаянное улюлюканье. Сквозь листву мелькало голубое море.

Остановились и медленно поползли, только когда нагнали пехотные части.

Никто ничего не знал. Говорили, что впереди казаки. Только казакам неоткуда взяться — громады гор давно отгородили их. Говорили, будто черкесы, не то калмыки, не то грузины, не то народы неизвестного звания, и сила-рать их несметная. От этого еще неотступнее наседали беженские телеги на войсковые части, — ничем нельзя было отодрать, разве перестрелять всех до единого.

Казаки ли, грузины ли, черкесы ли, калмыки ли, а жить надо. Опять граммофон на лошади запел:

Уй-ми-и-тесь, вол-не-ния страс-ти...

В разных концах хлопцы заспивали. Шли, как попало, по шоссе. С шоссе карабкались в гору, драли о сучья, шипы, иглы последние лохмотья, искали одичавшие нестерпимо-кислые мелкие яблоки и, сморщившись и по-звериному перекосив рожу, набивали живот кислицей. Под дубом собирали жолуди, жевали их, и горькая слюна обильно бежала. Потом вылезли из лесу — голые, с кроваво-изодранной в лохмотья кожей — и обвязывали остатками тряпья стыдное место.

Бабы, девки, ребятишки — все продираются в лесу. Крики, смех, плач — впиваются в тело иглы, дерут шипы, цепко обвиваются лианы, и ни взад, ни вперед: да голод не тетка, все лезут.

Иногда раздвинутся горы, и по склону зажелтеет небольшое поле недозрелой кукурузы — где-нибудь под берегом приткнулась деревенька. Поле разом, как саранчой, покрывается народом. Солдаты ломают кукурузные метелки, потом идут по шоссе,

растирают на ладони, выбирают сырое зерно — и в рот, и долго и жадно жуют.

Матери, набрав зерен, тоже долго жуют, но не глотают, а теплым языком впихивают в ротик детям разжиженную слюной кашку.



А там впереди опять выстрелы, опять строчит пулемет, но никто уж не обращает внимания, — привыкли. Смолкает. Птичьим голосом тянет граммофон:

Уж я-а-а не ве-рю у-ве-ре-э-нья-ам...

Перекликаются, смеются в лесу, с разных сторон доносятся песни солдат. Обоз беженцев нераздельно сливается с последними пехотными частями, и все вместе без отдыха течет по шоссе в безбрежных облаках пыли.

XXII

В первый раз враги перегородили дорогу, новые враги.

Зачем? Что им надо?

Кожух понимает — тут пробка. Слева — горы, справа — море, а между ними узкое шоссе. По шоссе через пенистую горную речку мост железнодорожного типа, — мимо него нигде не пройдешь. А перед мостом врагами поставлены пулеметы и орудия. В этой сквозной, сплетенной из стальных балок дыре можно остановить любую армию. Эх, кабы развернуться можно! То ли дело в степях!

Ему подают приказ штаба Смолокурова, как действовать против неприятеля. Пожелтев, как лимон, и сжав челюсти, сминает приказ, не читая, и швыряет на шоссе. Солдаты бережно подбирают, расправляют на колене и крутят цыгарки, насыпая сухими листьями.

Войска вытянулись вдоль шоссе. Кожух смотрит на них: оборванные, босые; у половины по два, по три патрона на человека, а у остальной половины одни винтовки в руках. Одно орудие, и к нему всего шестнадцать снарядов. Но Кожух, сжав челюсти, смотрит на солдат так, как будто у каждого в сумке по триста патронов, грозно глядят батареи и переполнены снарядами зарядные ящики, а кругом родная степь, по которой привычно развернется вся колонна до последнего человека.

И с такими глазами и лицом он говорит:

— Товарищи! Бились мы с козаками, с кадетами. Знаемо, за що з ими бились — за тэ, що воны хотять задушить революцию.

Солдаты пасмурно смотрят на него и говорят глазами:

«Без тебя знаем. Що ж с того?.. А в дирочку на мосту все одно не полиземо...»

— ...от козаков мы оторвались, — горы нас отгородили, есть у нас передышка. Но новый враг заступил дорогу. Хтось такие?

Це грузины-меньшевики, а меньшевики — одна цена с кадетами, однаково еднаются с буржуями, сплять и во сне видють, щоб загубить совитску власть...

А солдатские глаза:

«Та цилуйся с своей совитской властью. А мы босы, голи, и йисты нэма чого».

Кожух понимал их глаза, понимал, что это — гибель.

И он, ставя последнюю карту, обратился к кавалеристам:

— Ваша, товарищи, задача: взять мост с маху на коне.

Кавалеристы, все, как один, поняли, что сумасбродную задачу ставит им командующий: скакать гуськом (на мосту не развернешься) под пулеметным огнем — это значит, половина завалит мост телами, а вторая половина, не имея возможности через них проскочить, будет расстреляна, когда кинется назад.

Но на них были такие ловкие черкески, так блестело серебром отцовское и дедовское оружие, так красиво-воинственны папахи и барашковые кубанки, так оживленно мотают головами, выдергивая повода, чудесные степные кубанские кони, и, видимо, любуясь, все смотрят на них, — и они дружно гаркнули:

— Возьмем, товарищ Кожух!..

Скрытое орудие, наполняя ущелье, скалы, горы чудовищно разрастающимся эхом, раз за разом стало бить в то место за мостом, где притаились в гнездах пулеметы, а кавалеристы, поправив папахи, молча, без крика и выстрела, вылетели из-за поворота, и, в ужасе прижав уши, вытянув шеи, с кроваво-раздувшимися ноздрями, лошади понеслись к мосту и по мосту.

Грузинские пулеметчики, прижавшиеся под вспыхивавшими поминутно клубочками шрапнели, оглушенные дико разраставшимися в горах раскатами, не ожидавшие такой наглости, спохватились, застрочили... Упала лошадь, другая, третья, но уже середина моста, конец моста, шестнадцатый снаряд, и... побежали.

— Урра-а-а!! — пошли рубить.

Грузинские части, стоявшие поодаль от моста, отстреливаясь, бросились уходить по шоссе и скрылись за поворотом.

А те, что стояли у моста, отрезанные, кинулись к берегу. Но грузинские офицеры успели раньше вскочить в шлюпки, и шлюпки быстро ушли к пароходам. Из труб густо повалил дым, пароходы стали удаляться в море.

Стоя по горло в воде, грузинские солдаты протягивали руки к уходящим пароходам, кричали, проклинали, заклинали жизнью детей, а им рубили шеи, головы, плечи, и по воде расходились кровавые круги.

Пароходы чернелись на синеющем краю точками, исчезли, и на берегу уже никто не молил, не проклинал.

XXIII

Над лесами, над ущельями стали громоздиться скалистые вершины. Когда оттуда ветерок — тянет холодком, а внизу на шоссе — жара, мухи, пыль.

Шоссе потянулось узким коридором — по бокам стиснули скалы. Сверху свешиваются размытые корни. Повороты поминутно скрывают от глаз, что̀ впереди и сзади. Ни свернуть, ни обернуться. По коридору неумолчно течет все в одном направлении живая масса. Скалы заслонили море.

Замирает движение. Останавливаются повозки, люди, лошади. Долго, томительно стоят, потом опять двигаются, опять останавливаются. Никто ничего не знает, да и не видно ничего — одни повозки, а там — поворот и стена: вверху кусочек синего неба.

Тоненький голосок:

— Ма-а-мо, кисли-ицы!..

И на другой повозке:

— Ма-а-мо!..

И на третьей:

— Та цытьте вы! Дэ ии узяты? Чи на стину лизты? Бачишь, стины?

Ребятишки не унимаются, хнычут, потом, надрываясь, истошно кричат:

— Ма-а-мо!.. дай кукурузы!.. дай кислицы... ки-ис-ли-цы!.. ку-ку-ру-узы... дай!..

Как затравленные волчицы, с сверкающими глазами, матери, дико озираясь, колотят ребятишек.

— Цыц! пропасти на вас нету. Когда только подохнете, усю душу повтягалы, — и плачут злыми, бессильными слезами.

Где-то глухо далекая перестрелка. Никто не слышит, никто ничего не знает.

Стоят час, другой, третий. Двинулись, опять остановились.

— Ма-амо, кукурузы!..

Матери так же озлобленно, готовые перегрызть каждому горло, роются в телегах, переругиваются друг с другом; надергивают из повозки стеблей молодой кукурузы, мучительно долго жуют, с силой стискивая зубы, кровь сочится из десен; потом наклоняются к жадно открытому детскому ротику и всовывают теплым языком. Детишки хватают, пробуют проглотить, солома колет горло, задыхаются, кашляют, выплевывают, ревут.

— Не хо̀-очу! Не хо́-очу!

Матери в остервенении колотят.

— Та якого же вам биса?

Дети, размазывая грязные слезы по лицу, давятся, глотают.

Кожух, сжав челюсти, рассматривает в бинокль из-за скалы позиции врага. Толпятся командиры, тоже глядя в бинокли: солдаты, сощурившись, рассматривают не хуже бинокля.

За поворотом ущелье раздалось. Сквозь его широкое горло засинели дальние горы. Громада лесов густо сползает за

массив, загораживающий ущелье. Голова массива кремниста, а самый верх стоит отвесно четырехсаженным обрывом, — там окопы противника, и шестнадцать орудий жадно глядят на выбегающее из коридора шоссе. Когда колонна двинулась было из скалистых ворот, батарея и пулеметы засыпали, — места живого не осталось; солдаты отхлынули назад за скалы. Для Кожуха ясно — тут и птица не пролетит. Развернуться негде, один путь — шоссе, а там — смерть. Он смотрит на белеющий далеко внизу городок, на голубую бухту, на которой чернеют грузинские пароходы. Надо придумать что-то новое, — но что? Нужен какой-то иной подход, — но какой? И он становится на колени и начинает лазать по карте, разостланной на пыльном шоссе, изучая малейшие изгибы, все складки, все тропинки.

— Товарищ Кожух!

Кожух подымает голову. Двое стоят веселыми ногами.

«Канальи!.. успели...»

Но на них молча смотрит.

— Так что, товарищ Кожух, не перескочить нам по шаше,— всех перебьет Грузия. Зараз мы были, так сказать, на разведке... добровольцами...

Кожух, так же не спуская глаз:

— Дыхни. Да не тяни в себе, дыхай на мене. Знаешь, за это расстрел?

— И вот те Христос, это лесной дух, — лесом пробирались все время, ну, надыхали в себе.

— Хиба ж тут шинки, чи що! — подхватывает с хитро-веселыми украинскими глазами другой. — В лиси одни дерева, бильш ничóго.

— Говори дело.

— Так что, товарищ Кожух, идем это мы с им, и разговор у нас сурьезный: али помирать нам тут усем на шаше, али ворочаться в лапы козакам. И помирать не хотится, и в лапы не хотится. Как тут быть? Гля-а, за деревьями — духан. Мы

подползли — четверо грузин вино пьют, шашлык едят; звестно: грузины—пьяницы. Так и завертело у носе, так и завертело, мочи нету. Ливорверты у их. Выскочили мы, пристрелили двоих: «Стой, ни с места! Окружены, так вас растак!.. Руки кверху!..» Энти обалдели, — не ждали. Мы еще одного прикололи, а эн-



того связали. Ну, духанщик спужался до скончания. Ну, мы, правду сказать, шашлык доели, оставшийся от грузин, которые заплатить должны, — жалованье большое получают, — а вина и не пригубили, как вы, одно слово, приказ дали.

Другой покачнулся, шагнул к Кожуху, икнул:

— Та нэхай воно сказыться, це зилье прокляте... Нэхай меня сковородить на сторону усю морду, колы я хочь нюхну его. Нэхай вывернэ мени усю требуху...

— К делу.

— Грузин оттащили в лес, оружие забрали, а остатнего грузина приволокли сюды, и духанщика, чтоб не распространял.

Опять же встрели пять мужчинов с бабами и с девками,— здешние, с-под городу, нашинские, русские, у них абселюция под городом, а грузины азияты, опять же черномазые и не с нашей нации, до белых баб дюже охочи. Ну, все бросили, до нас идут; сказывают, по тропкам можно обход городу сделать. Чижало, сказывают — пропасти, леса, обрывы, щели, но можно. А в лоб, сказывают, немысленно. Тропинки они все знают, как пять пальцев. Ну, трудно, несть числа, одно слово, погибель, а все-таки обойтить можно.

— Где они?

— Здеся.

Подходит командир батальона.

— Товарищ Кожух, сейчас мы были у моря, там никак нельзя пройти: берег скалистый, прямо обрывом в воду.

— Глубоко?

— Да у самой скалы по пояс, то и по шею, а то и с головкой.

— Та що ж, — говорит внимательно слушавший солдат в лохмотьях с винтовкой в руке, — що ж, с головой... А есть каменюки наворочены, с гор попадали у море, можно скòчить зайцàми с камень на камень.

К Кожуху со всех сторон ползут донесения, указания, разъяснения, планы, иногда неожиданные, остроумные, яркие,— и общее положение выступает отчетливо.

Собирает командный состав. У него сжаты челюсти, колкие, под насунутым черепом, недопускающие глаза.

— Товарищи, вот как. Все три эскадрона пойдут в обход города. Обход трудный: по тропинкам, лесами, скалами, ущельями да еще ночью, но его во что бы то ни стало выполнить!

«Пропадем... ни одной лошади не вернется...» — стояло запрятанное в глазах, чего бы не сказал язык.

— Имеется пять проводников — русские, здешние жители. Грузины им насолили. У нас их семьи. Проводникам объявлено — семьи отвечают за них. Обойти с тыла, ворваться в город...

Он помолчал, вглядываясь в наползающую в ущелье ночь, коротко уронил:

— Всех уничтожить!

Кавалеристы молодецки поправили на затылках папахи:

— Будет исполнено, товарищ Кожух, — и лихо стали садиться на лошадей.

Кожух:

— Пехотный полк... товарищ Хромов, ваш полк спустите с обрыва, проберетесь по каменьям к порту. С рассветом ударить без выстрела, захватить пароходы на причале.

И опять, помолчав, уронил:

— Всех истребить!

«На море грузины поставят одного стрелка, весь полк поснимают с каменюков поодиночке...»

А вслух дружно сказали:

— Слушаем, товарищ Кожух.

— Два полка приготовить к атаке в лоб.

Одна за одной стала тухнуть алость дальних вершин: однообразно и густо засинело. В ущелье вползала ночь.

— Я поведу.

Перед глазами у всех в темном молчании отпечаталось: дремучий лес, за ним кремнистый подъем, а над ним одиноко, как смерть с опущенным взором, отвес скалы... Постояло и растаяло. В ущелье вползала ночь. Кожух вскарабкался на уступ. Внизу смутно тянулись ряды тряпья, босые ноги, выделялось колко множество теснившихся штыков.

Все смотрели, не спуская глаз, на Кожуха, — у него был секрет разрешить вопрос жизни и смерти: он обязан указать выход, выход — все это отчетливо видели — из безвыходного положения.

Подмываемый этими тысячами устремленных на него требующих глаз, чувствуя себя обладателем неведомого секрета жизни и смерти, Кожух сказал:

— Товариство! Нам нэма с чого выбирать: або тут сложим головы, або козаки сзаду всих замучут до одного. Трудности неодолимые: патронов нэма, снарядов к орудию нэма, брать треба голыми руками, а на нас оттуда глядят шестнадцать орудий. Но колы вси, как один... — он с секунду перемолчал, железное лицо окаменело, и закричал диким, непохожим голосом, и у всех захолонуло: — колы вси, как один, ударимо, тоди дорога открыта до наших!

То, что он говорил, знал и без него каждый последний солдат, но когда закричал странным голосом, всех поразила неожиданная новизна сказанного, и солдаты закричали:

— Як один! Або пробьемось, або сложим головы!

Пропали последние пятна белевших скал. Ничего не видно: ни массива, ни скал, ни лесов. Потонули зады последне уходящих лошадей. Не видать сыпавших мелкими камнями солдат, спускавшихся, держась за тряпье друг друга, по промоине к морю. Скрылись последние ряды двух полков в непроглядном лесу, над которым, как смерть с закрытыми глазами, чудилась отвесная скала.

Обоз замер в громадном ночном молчании: ни костров, ни говора, ни смеха, и детишки беззвучно лежат с голодно ввалившимися личиками.

Молчание. Темь.

XXIV

Грузинский офицер с молодыми усами, в тонко перетянутой красной черкеске, в золотых погонах, с черными миндалевидными глазами, от которых (он это знал) захлебывались женщины, похаживал по площадке массива, изредка взглядывал. Окопы, брустверы, пулеметные гнезда.

В двадцати саженях недоступно отвесный обрыв, под ним крутой каменистый спуск, а там непролазная темень лесов, а за

лесами — скалистое ущелье, из которого выбегает белая пустынная полоска шоссе. Туда скрыто глядят орудия, там — враг.

Около пулеметов мерно ходят часовые — молодцеватые, с иголочки.



Этим рваным свиньям дали сегодня утром жару, когда они попробовали было высунуться по шоссе из-за скал, — попомнят.

Это он, полковник Михеладзе (такой молодой и уже полковник!), выбрал позицию на этом перевале, настоял на ней в штабе. Ключ, которым заперто побережье.

Он опять глянул на площадку массива, на отвесный обрыв, на береговые скалы, отвесно срывавшиеся в море, — да все, как по заказу, сгрудилось, чтобы остановить любую армию.

Но этого мало, мало их не пустить — их надо истребить. И у него уже составлен план: отправить пароходы им в тыл, где шоссе спускается к морю, обстрелять с моря, высадить десант, запереть эту вонючую рвань с обоих концов, и они подохнут, как крысы в мышеловке.

Это он, князь Михеладзе, владелец небольшого, но прелестного имения под Кутаисом, он отсечет одним ударом голову ядовитой гадине, которая ползет по побережью.

Русские — враги Грузии, прекрасной, культурной, великой Грузии, такие же враги, как армяне, турки, азербайджане, татары, абхазцы. Большевики — враги человечества, враги мировой культуры. Он, Михеладзе, сам социалист, но он... («Послать, что ли, за этой за девчонкой, гречанкой?.. Нет, не стоит... не стоит на позиции, ради солдат...») ...но он истинный социалист, с глубоким пониманием исторического механизма событий, и кровный враг всех авантюристов, под маской социализма разнуздывающих в массах самые низменные инстинкты.

Он не кровожаден, ему претит пролитая кровь, но когда вопрос касается мировой культуры, касается величия и блага родного народа, — он беспощаден, и *эти* поголовно все будут истреблены.

Он похаживает с биноклем, посматривает на страшной крутизны спуск, на темень непроходимых лесов, на извилисто выбегающую из-за скал белую полоску шоссе, на которой никого нет, на алеющие вечерней алостью вершины и слышит тишину, мирную тишину мягко наступающего вечера.

И эта стройно охватывающая его красивую фигуру великолепного сукна черкеска, дорогие кинжал и револьвер, выложенные золотом с подчернью, белоснежная папаха единственного мастера, знаменитости Кавказа, Османа, — все это его обязывает, обязывает к подвигу, к особенному, что он должен совершить; оно отделяет его ото всех, — от солдат, которые вытяги-

ваются перед ним в струнку, от офицеров, у которых нет его опытности и знаний, и когда он стройно ходит, чувствует — носит в себе тяжесть своего одиночества.

— Эй!

Подбегает денщик, молоденький грузин с неправильно желтым приветливым лицом и такими же, как у полковника, влажно-черными глазами, вытягивается в струнку, берет под козырек.

— Чего изволите?

«...Эту девчонку... гречанку... приведи...»

Но не выговорил, а сказал, строго глядя:

— Ужин?

— Так точно. Господа офицеры ждут.

Полковник величественно прошел мимо вскакивавших и вытягивавшихся в струнку солдат с худыми лицами: не было подвоза — солдаты получали только горсточку кукурузы и голодали. Они отдавали честь, провожая глазами, и он небрежно взмахивал белой перчаткой, слегка надетой на пальцы. Прошел мимо тихонько, по-вечернему дымивших синеватым дымком костров, мимо артиллерийских коновязей, мимо пирамид составленных винтовок пехотного прикрытия и вошел в длинно белевшую палатку, в которой ослепительно тянулся из конца в конец стол, заставленный бутылками, тарелками, рюмками, икрой, сыром, фруктами.

Разговор в группах таких же молодых офицеров, так же стройно перетянутых, в красивых черкесках, торопливо упал; все встали.

— Прошу, — сказал полковник, и стали все усаживаться.

А когда ложился в своей палатке, приятно шла кругом голова, и, подставляя ногу денщику, стаскивавшему блестяще лакированный сапог, думал:

«Напрасно не послал за гречанкой... Впрочем, хорошо, что не послал...»

XXV

Ночь так громадна, что поглотила и горы, и скалы, колоссальный провал, который днем лежал перед массивом, в глубине которого леса, а теперь ничего не видно.

По брустверу ходит часовой — такой же бархатно-черный, как и все в этой бархатной черноте. Он медленно делает десять шагов, медленно поворачивается, медленно проходит назад. Когда идет в одну сторону — смутно проступают очертания пулемета, когда в другую — чувствуется скалистый обрыв, до самых краев ровно залитый тьмой. Невидимый отвесный обрыв вселяет чувство спокойствия и уверенности: ящерица не взберется.

И опять медленно тянутся десять шагов, медленный поворот, и опять...

Дома маленький сад, маленькое кукурузное поле, Нина, и на руках у нее маленький Сергò. Когда он уходил, Серго́ долго смотрел на него черносливовыми глазами, потом запрыгал на руках матери, протянул пухлые ручонки и улыбнулся, пуская пузыри, улыбнулся чудесным беззубым ртом. А когда отец взял его, он обслюнявил милыми слюнями лицо. И эта беззубая улыбка, эти пузыри не меркнут в темноте.

Десять медленных шагов, смутно угадываемый пулемет, медленный поворот, так же смутно угадываемый край отвесного обрыва, опять...

Большевики зла ему не сделали... Он будет в них стрелять с этой высоты. По шоссе ящерица не проскочит... Большевики царя спихнули, а царь пил Грузию,— очень хорошо... В России, говорят, всю землю крестьянам... Он вздохнул. Он мобилизован и будет стрелять, если прикажут, в тех, что там, за скалами.

Ничем не вызываемая, выплывает беззубая улыбка и пузыри, и в груди теплеет, он внутренне улыбается, а на темном лице серьезность.

Тянется все та же тишина, до краев наполненная тьмой. Должно быть, к рассвету — и эта тишина густо наваливается...

Голова неизмеримой тяжести, ниже, ниже... Да разом вздернется. Даже среди ночи особенно непроглядна распростершаяся неровная чернота — горы; в изломах мерцают одинокие звезды.

Далеко и непохоже закричала ночная птица. Отчего в Грузии таких не слыхал?

Все налито тяжестью, все недвижимо и медленно плывет ему навстречу океаном тьмы, и это не странно, что недвижимо и неодолимо плывет ему навстречу.

— Нина, ты?.. А Серго́?

Открыл глаза, а голова мотается на груди, и сам прислонился к брустверу. Последние секунды оторванного сна медленно плыли перед глазами ночными пространствами.

Тряхнул головой, все замерло. Подозрительно вгляделся: та же недвижимая темь, тот же смутно видимый бруствер, край обрыва, пулемет, смутно ощущаемый, но невидимый провал. Далеко закричала птица. Таких не бывает в Грузии...

Он переносит взгляд вдаль. Та же изломанная чернота, и в изломах слабо мерцают побелевшие и уже в ином расположении звезды. Прямо — океан молчаливой тьмы, и он знает — на дне его дремучие леса. Зевает и думает: «Надо ходить, а то опять...» — да не додумал, и сейчас же опять поплыла неподвижная тьма из-под обрыва, из провала, бесконечная и неодолимая, и у него тоскливо стало задыхаться сердце.

Он спросил:

«Разве может плыть ночная темь?»

А ему ответили:

«Может».

Только ответили не словами, а засмеялись одними деснами.

Оттого, что рот был беззубый и мягкий, ему стало страшно. Он протянул руку, а Нина выронила голову ребенка. Серая голова покатилась (у него замерло), но у самого края остановилась... Жена в ужасе — ах!.. но не от того, а от другого ужаса:

в напряженно-предрассветном сумраке по краю обрыва серело множество голов, должно быть, скатившихся... Они все повышались: показались шеи, вскинулись руки, приподнялись плечи, и железно-ломаный, с лязгом, голос, как будто протиснутый сквозь неразмыкающиеся челюсти, поломал оцепенение и тишину:

— Вперед!.. в атаку!..

Нестерпимо звериный рев взорвал все кругом. Грузин выстрелил, покатился, и в нечеловечески-раздирающей боли разом погас прыгавший на руках матери с протянутыми ручонками, пускающий пузыри улыбающимся ртом, где одни десны, ребенок.

XXVI

Полковник вырвался из палатки и бросился вниз, туда, к порту. Кругом, прыгая через камни, через упавших, летели в яснеющем рассвете солдаты. Сзади, наседая, катился нечеловеческий, никогда не слышанный рев. Лошади рвались с коновязи и в ужасе мчались, болтая обрывками...

Полковник, как резвый мальчишка, прыгая через камни, через кусты, несся с такой быстротой, что сердце не поспевало отбивать удары. Перед глазами стояло одно: бухта... пароходы... спасение...

И с какой быстротой он несся ногами, с такой же быстротой—нет, не через мозг, а через все тело — неслось:

«...Только б... только б... не убили... только б пощадили. Все готов делать для них... Буду пасти скотину, индюшек... мыть горшки... копать землю... убирать навоз... только б жить... только б не убили... Господи!.. жизнь-то — жизнь...»

Но этот сплошной, потрясающий землю топот несется страшно близко, с боков. Еще страшнее, наполняя умирающую ночь, безумно накатывается сзади, охватывая, дикий, нечеловеческий рев: а-а-а!.. и отборные, хриплые, задыхающиеся ругательства.

И в подтверждение ужаса этого рева то там, то там слышится: кррак!.. кррак!.. Он понимает: это прикладом, как скорлупу, разбивают череп. Взметываются заячьи вскрики, мгновенно смолкая, и он понимает: это — штыком.

Он несется, каменно стиснув зубы, и жгучее дыхание, как пар, вырывается из ноздрей.

«...Только б жить... только б пощадили... Нет у меня ни родины, ни матери... ни чести, ни любви... только уйти... а потом все это опять будет... А теперь — жить, жить, жить...»

Казалось, израсходованы все силы, но он напружил шею, втянул голову, сжал кулаки в мотающихся руках и понесся с такой силой, что навстречу побежал ветер, а безумно бегущие солдаты стали отставать, и их смертные вскрики несли на крыльях бежавшего полковника.

Кррак!.. кррак!..

Заголубела бухта... Пароходы... О, спасение!..

Когда подбежал к сходням, на секунду остановился: на пароходах, на сходнях, на набережной, на молу что-то делалось, и отовсюду: кррак!.. кррак!..

Его поразило: и тут стоял неукротимый, потрясающий рев, и неслось: кррак!.. кррак!.. и вспыхивали и гасли смертные вскрики.

Он мгновенно повернул и с еще большей легкостью и быстротой понесся прочь от бухты, и в глаза на мгновенье блеснула последний раз за молом бесконечная синева...

«...Жить... жить... жить!..»

Он летел мимо белых домиков, бездушно глядевших черными немыми окнами, летел на край города, туда, где потянулось шоссе, такое белое, такое спокойное, потянулось в Грузию. Не в великодержавную Грузию, не в Грузию, рассадницу мировой культуры, не в Грузию, где он произведен в полковники, а в милую, единственную, родную, где так чудесно пахнет весною цветущими деревьями, где за зелеными лесными горами

белеют снега, где звенящий зной, где Тифлис, Воронцовская, пенная Кура и где он бегал мальчишкой...

«... Жить... жить... жить!..»

Стали редеть домики, прерываясь виноградниками, а рев, страшный рев и одиночные выстрелы остались далеко назади, внизу, у моря.

«Спасен!!»

В ту же секунду все улицы наполнились потрясающе тяжелым скоком; из-за угла вылетели на скакавших лошадях, и вместе с ними покатился такой же отвратительный, смертельный рев: рры-а-а... Вспыхивали узкие полосы шашек.

Бывший князь Михеладзе, когда-то грузинский полковник, мгновенно бросился назад. «...Спаси-ите!»

И, зажав дыхание, полетел по улице к центру города. Раза два ударился в калитку, — калитки и ворота были наглухо заперты железными засовами, никто не подавал и признаков жизни: там чудовищно было все равно, что делалось на улице.

Тогда он понял: одно спасение — гречанка. Она ждет с черно-блестящими жалостливыми глазами. Она — единственный в мире человек... Он на ней женится, отдаст имение, деньги, будет целовать край ее одеж...

Голова взрывом разлетелась на мелкие части.

А на самом деле не на мелкие части, а расселась под наискось вспыхнувшей шашкой надвое, вывалив мозги.

XXVII

Зной разгорается. Невидимый, мертвый туман тяжело стоит над городом. Улицы, площади, набережная, мол, дворы, шоссе завалены. Груды людей неподвижно лежат в разнообразных позах. Одни страшно подвернули головы, у других шея без головы. Студнем трясутся на мостовой мозги. Запекшаяся, как на

войне, кровь темно тянется вдоль домов, каменных заборов, подтекает под ворота.

На пароходах, в каютах, в кубрике, на палубе, в трюме, в кочегарке, в машинном отделении все *они* — с тонкими лицами, черненькими молодыми усиками.

Неподвижно перевешиваются через парапет набережной, и когда глянешь в прозрачно-голубую воду, спокойно лежат на ослизло-зеленоватых камнях, а над ними неподвижно виснут серые стаи рыб.

Только из центра города несутся частые выстрелы, и торопливо татакает пулемет: вокруг собора засела грузинская рота и геройски умирает. Но и эти замолчали.

Мертвые лежат, а живые переполнили городок, улицы, дворы, дома, набережную, и около города, по шоссе, на склонах, в ущельях — все повозки, люди, лошади. Суета, восклицания, смех, гомон.

По этим мертво-живым местам проезжает Кожух.

— Победа, товарищи, победа!!

И как будто нет ни мертвых, ни крови, — буйно-радостно раскатывается:

— Уррра-а-а!!

Далеко откликается в синих горах и далеко умирает за пароходами, за бухтой, за молом, во влажной синеве.

А на базарах, в лавках, в магазинах идет уже мелькающая озабоченная работа: разбивают ящики, рвут штуки сукна, сдергивают с полок белье, одеяла, галстуки, очки, юбки.

Больше всего налетело матросов — они тут, как тут. Всюду крепкие, кряжистые фигуры в белых матросках, брюках клеш, круглые шапочки и ленточки полощутся, и зычно разносится:

— Греби!

— Причалива-ай!

— Кро-ой!!

— Выгребай с энтой полки!

Орудовали быстро, ловко, организованно. Один приправил на голове роскошную дамскую шляпу, обмотал морду вуалью, другой — под шелковым кружевным зонтиком.

Суетились и солдаты в невероятных отрепьях с черными, босыми потрескавшимися ногами; забирали ситец, полотно, парусину для баб и детей.



Вытаскивает один из картонного короба крахмальную рубаху, растопырил за рукава и загоготал во все горло:

— Хлопьята, бачь: рубаха!.. Матери твоей по потылице...

Полез, как в хомут, головой в ворот.

— Та що ж вона не гнеться? Як лубок.

И он стал нагибаться и выпрямляться, глядя себе на грудь, как баран.

— Ей-бо, не гнеться! Як пружина.

— Тю, дура! Це крахмал.

— Що таке?

— Та с картофелю паны у грудях соби роблють, щоб у грудях у их выходыло.

Высокий, костлявый — почернелое тело сквозит в тряпье — вытащил фрак. Долго рассматривал со всех сторон; решительно скинул тряпье и голый полез длинными, как у орангутанга, руками в рукава, но рукава — по локоть. Надел прямо на голое тело. На животе застегнул, а книзу вырез. Хмыкнул.

— Треба штанив.

Полез искать, но брюки забрали. Полез в бельевое отделение, вытащил картон, — в нем что-то странное. Развернул, прицелился, опять хмыкнул:

— Чудно! Штани не штани, а дуже тонко. Хведор, що таке?

Но Хведору было не до того, — он вытаскивал ситец бабе и ребятам — голые.

Опять прицелился и вдруг хмуро и решительно надернул на длинные, жилистые, почернелые от солнца и грязи ноги. Оказалось, то, что надел, болталось выше колен кружевами.

Хведор глянул и покатился:

— Хлопьята, гляньте: Опанас!..

Магазин дрогнул от хохота:

— Та це ж бабьи портки!!

А Опанас мрачно:

— А що ж, баба нэ человик?

— Як же ты будешь шагать, — разризано, усе видать, и тонина̀.

— А мотня здоровая!..

Опанас сокрушенно посмотрел:

— Правда. То-то, дурни, штани з якой тонины роблять, тильки материал портють.

Вытащил из коробка все, что там было, и стал молча надевать одни за другими, — шесть штук надел; кружева пышным валом повыше колена.

Матросы на секунду прислушались и вдруг бешено ринулись в двери, в окна. А за окнами улюлюканье, матерная ругань, конский топот, хруст нагаек о человеческое тело. Солдаты — к окнам. По площади что было силы бежали матросы, стараясь спасти захваченное. Эскадронцы, шпоря лошадей, нещадно пороли их, просекая одежду, и синие вздувшиеся жгуты опоясывали лица, — кровь брызгала.

Матросы, озверело оглядываясь, побросали набитые сумки, — невтерпеж стало — рассыпались, кто куда.

XXVIII

Тревожно, торопливо трещал барабан. Играл горнист.

Через двадцать минут на площади шеренгами стояли солдаты с строгими лицами. И этой строгости странно не соответствовала одежда. Одни были в прежнем пропотелом тряпье, другие — в крахмальных, расстегнутых, подпоясанных веревочками сорочках — на груди стояли коробом. Иные — в дамских ночных кофтах или в лифах, и странно торчали из них черные руки, шеи. А правофланговый третьей роты, высокий, костлявый и сумрачный, стоял в черном фраке на голом теле, с рукавами до локтя; густо белели выше голых колен кружева.

Подошел Кожух, железно зажимая челюсти, а глаза серые, острого блеска. За ним командный состав в красивых грузинских офицерских папахах, малиновых черкесках, на которых серебряные с чернью кинжалы.

Кожух постоял, все так же посылая вдоль шеренги острый блеск стали крохотных глаз.

— Товарищи!

Голос такого же ржаво-ломаного железа, как тот, что ночью: «Вперед!.. в атаку!..»

— Товарищи! Мы — революционная армия, бьемось за наших дитэй, за жен, за наших старых матерей, отцов, за революцию, за нашу землю. А землю хто дал?

Он замолчал и ждал ответа, зная, что не будет ответа: стояли в строю.

— Хто дал? Совитска власть. А вы що сделали? А вы разбойниками стали, — пошли грабить.

Стояла такая тишина напряжения, что вот лопнет. А ржавое железо, ломаясь, гремело:

— Я командующий колонной, я назначаю двадцать пять розог кажному, хто взял хочь нитку.

Все неподвижно смотрели на него, не спуская глаз: он был отрепан, штаны висели клочьями; как блин обвисла грязная соломенная шляпа.

— У кого хочь трошки есть награбленного, три шага вперед!

Прошла тягостная секунда молчания — никто не тронулся.

И вдруг земля глухо и дружно: раз! два! три!.. Немного осталось стоять в тряпье. А в новой шеренге густо стояли одетые, кто во что горазд.

— Що взято у городе, пойдет в общий котел, вашим же дитям и бабам. Кладите на землю, хто що взял. Все!

Вся передняя шеренга шевельнулась и стала класть перед собой куски ситца, полотна, парусины, а другие стали снимать крахмаленные рубахи, дамские кофточки, лифчики, сложили на земле кучками и стояли, голые и загорелые. Снял и правофланговый фрак и панталоны, и тоже стоял, костлявый и голый.

Подъехала повозка. Из повозки вынули розги.

Кожух подошел к фланговому.

— Лягай!

Тот стал на четвереньки, потом неуклюже лег лицом в панталоны, и солнце жгло ему голый зад.

Кожух ржаво закричал:

— Лягайте вси!

И все легли, подставляя зады и спины горячему солнцу.

Кожух смотрел, и лицо было каменное. Разве не эти люди, шумя буйной ордой, выбирали его в начальники? Разве не они кричали ему: «Продал... пропил нас?» Разве не они играли им, как щепкой? Разве не они хотели поднять его на штыки?

А теперь покорно лежат голые.

И волна силы и мощи, подобная той, что взносила его, когда честолюбиво добивался офицерства, поднялась в душе. Но это была другая волна, другого честолюбия — он спасет, он выведет вот этих, которые так покорно лежат, дожидаясь розог. Покорно лежат, но если бы он заикнулся сказать: «Хлопцы, завертайте назад, до козаков, до офицеров»,— его бы подняли на штыки.

И опять ржавый кожухов голос разнесся над лежавшими:

— Одевайсь!

Все поднялись и стали одеваться в крахмальные рубахи, в кофточки, а правофланговый опять напялил фрак и надернул шесть штук панталон.

Кожух сделал знак, и два солдата с засветившимися лицами забрали нетронутую кучу розог и положили назад в повозку. Потом повозка поехала вдоль шеренги, и в нее радостно кидали куски ситцу, полотна, сатина.

XXIX

В бархатно-черном океане красновато шевелятся костры, озаряя лица, плоские, как из картона фигуры, угол повозки, лошадиную морду. И вся ночь наполнена гомоном, голосами, восклицаниями, смехом; песни родятся близко и далеко, гаснут; зазвенит балалаечка; заиграет вперебивку гармоника. Костры, костры...

Ночь полна еще чем-то, о чем не хочется думать.

Над городом синевато озаренный свет электрического сияния.

Заглядывает красноватый отсвет потрескивающего костра в старое лицо. Знакомое лицо. Э-э, будь здорова, бабуся! Бабо Горпино! Дид в сторонке лежит молча на тулупе. Кругом костра сидят солдатики, и лица красно озарены, — из своей же станицы. Котелки подвешены, да в котелках, почитай, вода одна.

А баба Горпина:

— Господи, царица небесная, що ж воно таке?! Йшлы, йшлы, йшлы, а ничого нэма, хочь подыхай, нэма чого пойисты. Що ж воно таке за начальство — пожрать ничого не може дать? Якое же то начальство... Анки нэма. Дид мовчить.

Вдоль шоссе неровная цепочка уходящих костров.

За костром лежит на спине солдатик (его не видно), закинул за голову руки, смотрит в темное небо и не видит звезд. Не то вспомнить что-то хочется, не то тоска. Лежит заломив руки, о чем-то о своем думает, и, как думы, плывет его голос — молодой, мягко-задумчивый:

...Возь-ми сво-ю ж-и-ин-ку...

Бьет ключом в котелке голая водица.

— Що ж воно таке... — это баба Горпина. — Завелы, тай подыхать нам тут. От одной воды тильки живот пучить, хочь вона насквозь прокипить.

— Во́!.. — говорит солдат, протягивая к костру красно-озаренную ногу в новом английском штиблете и в новых рейтузах.

У соседнего костра игриво заиграла гармоника. Прерывисто тянулась цепочка огней.

— И Анки нэма... Лахудра! Дэсь вона? Що з ей робиты? Хочь бы ты, диду, ее за волосья потягал. И чого ты мовчишь, як колода?

...От-дай мою лю-уль-ку, не-о-бач-ный...

Да повернулся на живот, подпер подбородок и с красно-озаренным лицом стал смотреть в костер.

Затейливо выделывала гармошка. В озаренно шевелящейся темноте смех, говор, песни и у ближних и у дальних костров.

— И все были люди, и у кажного — мать...

Он это сказал, ни к кому не обращаясь, молодым голосом, и сразу побежало молчание, погашая гармошку, говор, смех, и все почувствовали густой запах тления, наплывавший с массива — там особенно их много лежало.

Пожилой солдат поднялся, чтоб разглядеть говорившего... Плюнул в костер, зашипело. Должно быть, молчание в этой вдруг почувствовавшейся темноте долго бы стояло, да неожиданно ворвались крики, говор, брань.

— Что такое?

— Що таке?

Все головы повернулись в одну сторону. А оттуда из темноты:

— Иди, иди, сволочь!..

В освещенный круг взволнованно вошла толпа солдат, и костер неверно и странно выхватывал из темноты то часть красного лица, то поднятую руку, штык. А в середине, поражая неожиданностью, блеснули золотые погоны на плечах тоненько перехваченной черкески молоденького, почти мальчика, грузина.

Он затравленно озирался огромными прелестными, как у девушки, глазами, и на громадных ресницах, как красные слезы, дрожали капли крови. Так и казалось, он скажет: «Мама...» Но он ничего не говорил, а только озирался.

— У кустах спрятался, — все никак не справляясь с охватившим волнением, заговорил солдат. — Это каким манером вышло. Пошел я до ветру у кусты, а наши еще кричат: «Пошел, сукин сын, дальше». Я это в самые кусты сел, — чего такое черное? Думал — камень, хвать рукой, а это — он. Ну, мы его в приклады.

— Коли его, так его растак!.. — подбежал маленький солдат со штыком наперевес.

— Постой... погоди... — загомонили кругом, — надо командиру доложить.

Грузин заговорил умоляюще:

— Я по мобилизации... я по мобилизации, я не мог... меня послали... у меня мать...

А на ресницах висли новые красные слезы, сползая с разбитой головы. Солдаты стояли, положив руки на дула, хмуро глядя.

Тот, что лежал по ту сторону, на животе и все время, озаренный, смотрел в костер, сказал:

— Молоденький... Гляди — и шестнадцати нету...

Разом взорвали голоса:

— Та ты хто такий?! Господарь?.. Мы бьемось с кадетами, а грузины чого под ногами путаются? Просили их сюда? Мы не на живот, на смерть бьѐмось с козаками, третий не приставай. А хто вставит нос у щель, оттяпаем совсем с головой.

Отовсюду слышались возбужденно-озлобленные голоса. Подходили и от других костров.

— Та хто-сь такий?

— Вон лежит молокосос... Ще и молоко на губах не обсохло.

— Та мать его так!

Солдат грубо выругался и стал снимать котелок. Подошел командир. Мельком глянул на мальчика и, повернувшись, пошел прочь, уронив так, чтобы грузин не слышал:

— В расход!

— Пойдем, — преувеличенно сурово сказали два солдата, вскинув винтовки и не глядя на грузина.

— Куда вы меня ведете?

Трое пошли, и из темноты донеслось с той же преувеличенной серьезностью:

— В штаб... на допрос... там будешь ночевать...

Через минуту выстрел. Он долго перекатывался, ломаясь в горах, наконец смолк... а ночь все была полна смолкшими

9*

раскатами. Вернулись двое, молча сели к огню, ни на кого не глядя... а ночь все была полна неумирающим последним выстрелом.

Точно желая стереть нестираемый отзвук его, все заговорили оживленно и громче обычного. Заиграла гармошка, затренькала балалайка.

— Мы лесом як продирались тай подошли к скале, чуем, пропало дило: и к ним не влизим и не уйдем, — день настане, всих расстреляють...

— Ни туды, ни суды, — засмеялся кто-то.

— А тут думка: притворились сукины диты, що сплять; зараз начнут поливать. А там наверху, по краю поставь десять стрелков — обои полки смахнут, як мух. Ну, лизим, один одному на плечи тай на голову становимся...

— А батько дэ був?

— Та и батько ж с нами лиз. Як долизлы до верху, осталось сажени дви, прямо стиной: нияк не можно, ни взад, ни вперед,— затаились вси. Батько вырвав у одного штык, устромив в скалу и полиз. И вси за им начали штыки в щели втыкать, так и подтягалысь до самого верху.

— А у нас целый взвод захлебнулся у мори. Скачем, як зайцы, с камня на камень. Темь. Они оборвались, один за одним, в воду и потопли.

Но как оживленно ни стоял говор, как весело ни горели костры, темноту напряженно наполняло то, что каждый хотел забыть, и все так же неотвратимо наплывал запах тления.

А баба Горпина сказала:

— Що таке? — и показала.

Стали глядеть туда. В темноте, где невидимо стоял массив, мелькали дымные факелы, передвигались, наклонялись.

Знакомый молодой голос в темноте сказал:

— Это же наши команды и наряды из жителей подбирают. Целый день подбирают.

Все молчали.

XXX

Опять солнце. Опять блеск моря, иссиня-дымчатые очертания дальних гор. Все это медленно опускается, — шоссе петлями идет все выше и выше.

Крохотно далеко внизу белеет городок, постепенно исчезая. Синяя бухта, как карандашом, прямолинейно очерчена тоненькими линиями мола. Чернеют черточки оставленных грузинских пароходов. Вот только жаль — нельзя было прихватить и их с собою.

Впрочем, и без того много набрали всякой всячины. Везут шесть тысяч снарядов, триста тысяч патронов. Напрягая масляно-черные постромки, отличные грузинские лошади везут шестнадцать грузинских орудий. На грузинских повозках тянется множество всякого военного добра — полевые телефоны, палатки, колючая проволока, медикаменты; тянутся санитарные повозки — всего хоть засыпься. Одного нет: хлеба и сена.

Терпеливо идут лошади, голодно поматывая головами. Солдаты туго затянули животы, но все веселы — у каждого по двести, по триста патронов у пояса, бодро шагают в веселых



горячих облаках белой пыли, и кучами носятся свыкшиеся с походом, неотстающие мухи. Дружно в шаг разносится в солнечном сверкании:

Чи-и у шин-кар-ки-и мало го-рил-ки,
Ма-ло и пи-ва, и мэ-э-ду-у...

Бесконечно скрипят арбы, повозки, двуколки, фургоны. Между красными подушками мотаются исхудалые детские головенки.

По тропинкам, сокращенно между шоссейными петлями, нескончаемо гуськом тянутся пешеходы все в тех же картузах, истрепанных, обвислых соломенных и войлочных шляпах, с палками в руках, а бабы в рваных юбках, босые. Но уже никто не подгоняет хворостиной живность — ни коровы, ни свиньи, ни птицы; даже собаки с голоду куда-то попропали.

Бесконечно извивающаяся змея, шевелясь бесчисленными звеньями, вновь поползла в горы к пустынным скалам мимо пропастей, обрывов, расщелин, поползла к перевалу, чтоб перегнуться и сползти снова в степи, где хлеб и корм, где ждут свои.

Вда-ари-им о зем-лю ли-хом, жур-бою
тай бу-дем пить, ве-е-се-ли-и-ться...
То-рре-а-дор, сме-ле-е-е! То-рре-а-дор...

Новых пластинок набрали в городе.

Высятся в голубом небе недоступные вершины.

Городок утонул внизу в синеве. Расплылся берег. Море встало голубой стеной и постепенно закрылось обступившими шоссе верхушками деревьев. Жара, пыль, мухи, осыпи вдоль шоссе и леса, пустынные леса, жилье зверей.

К вечеру над бесконечно скрипевшим обозом стояло:

— Мамо... исты... исты дай... исты!..

Матери, исхудалые, с почернелыми лицами, похожими на птичьи клювы, вытянув шеи, смотрели воспаленными глазами на

уходившее петлями все выше шоссе, торопливо мелькая босыми ногами около повозок, — им нечего было сказать ребятишкам.

Подымались все выше и выше, леса редели, наконец, остались внизу. Надвинулась пустыня скал, ущелий, расщелин, громады каменных обвалов. Каждый звук, стук копыт, скрип колес отовсюду отражались, дико разрастаясь, заглушая человеческие голоса. То и дело приходилось обходить павших лошадей.

Вдруг разом зной упал; потянуло с вершин; все посерело. Без промежутка наступала ночь. С почернелого неба хлынули потоки. Это был не дождь, а шумя, сбивая с ног, неслась вода, наполняя бешеным водяным вихрем крутящуюся темноту. Неслась сверху, снизу, с боков. Вода струилась по тряпью, по прилипшим волосам. Потерялось направление, связь. Люди, повозки, лошади тянулись отъединенные, как будто между ними было бушующее пространство, не видя, не зная, что и кто кругом.

Кого-то унесло... Кто-то кричал... Да разве возможен тут человеческий голос?.. Клокотала вода, не то ветер, не то черно бушующее небо, или горы валились... А может быть, понесло весь обоз, лошадей, повозки...

— Помоги-ите!

— Ра-а-туйте!.. кинец свита!..

Они думали, что кричат, а это, захлебываясь, шептали посинелые губы.

Лошади, сбитые несущимся потоком, увлекали повозку с детьми в провал, но люди долго шли около пустого места, думая, что идут за повозкой.

Дети зарылись в насквозь промокшие подушки и одежду:

— Ма-а-мо!.. ма-амо!.. та-а-ту!

Им казалось — они отчаянно кричат, а это ревела несшаяся вода, катились с невидимых скал невидимые камни, бешено горланил живыми голосами ветер, непрерывно выливая ушаты.

Кто-то, распоряжавшийся в этом сумасшедшем доме, разом отдернул колоссальную завесу, и нестерпимо остро затрепетало синим трепетаньем все, что помещалось до этого в черноте необъятной ночи. Режуще-сине затрепетали извилины дальних гор, зубцы нависших скал, край провала, лошадиные уши, и, что ужаснее, в этом безумно трепещущем свете все было мертво-неподвижно: неподвижны косые полосы воды в воздухе, неподвижны пенистые потоки, неподвижны лошади с поднятым для шага коленом, неподвижны люди на полушаге, открыты чернеющие рты на полуслове, и бледны синие ручонки детишек меж мокрых подушек. Все недвижно в молчаливо-судорожном трепетании.

Это трепетание смертельной синевы продолжалось всю ночь; а когда так же неожиданно-мгновенно завеса задернулась, оказалось — только долю секунды.

Громада ночи все поглотила, и тотчас же, покрывая эту ведьмину свадьбу, треснула гора, и из недр выкатился такой грохот, что не поместился во всей громаде ночи, раскололся на круглые куски и, продолжая лопаться, покатился в разные стороны, все разрастаясь, заполняя невидимые ущелья, леса, провалы,— люди оглохли, а ребятишки лежали, как мертвые.

Среди ливших потоков, поминутно моргающей синевы, без перерыва разрастающихся раскатов остановился обоз, войска, орудия, зарядные ящики, беженцы, двуколки, — больше не было сил. Все стояло, отдаваясь на волю бешеных потоков, ветра, грохота и нестерпимо трепещущего мертвого света. Вода неслась выше лошадиных колен. Разыгравшейся ночи не было ни конца, ни края.

А наутро опять сияющее солнце; как умытый, прозрачен воздух; легко-воздушны голубые горы. Только люди черны, осунулись, ввалились глаза; напрягая последние силы, помогают тянуть лошадям. А у лошадей костлявые головы, выступили, хоть считай, ребра, и чисто вымыта шерсть.

Кожуху докладывают:

— Так что, товарищ Кожух, три повозки смыло в пропасть совсем с людьми. Одну двуколку разбило камнем с горы. Двух убило молнией. Двое из третьей роты пропали без вести. А лошади десятками падают, по всея шаше лежат.

Кожух смотрит на чисто вымытое шоссе, на скалы, которые сурово громоздятся, и говорит:

— На ночлег не останавливаться, иттить безостановочно, день и ночь иттить!

— Лошади не выдержат, товарищ Кожух. Сена ни клочка. Через леса шли — хочь листьями кормили, а теперь голый камень.

Кожух помолчал.

— Иттить безостановочно! Будем останавливаться — все лошади пропадут. Напишите приказ.

Чудесный, чистый горный воздух, так бы и дышал им. Десяткам тысяч людей не до воздуха; молча глядя себе под ноги, шагают возле повозок, по обочинам, около орудий. Спешившиеся кавалеристы ведут тянущих сзади повод лошадей.

Кругом одичало и голо громоздятся скалы. Узко темнеют расщелины. Бездонные пропасти, ожидающие гибели. В пустынных ущельях бродят туманы.

И темные скалы, и расщелины, и ущелья полны ни на секунду не затихающего скрипа повозок, звука колес, топота копыт, громыхания, лязга. И все это, тысячу раз отовсюду отраженное, разрастается в дикий, несмолкаемый рев. Все идут молча, но если бы кто-нибудь закричал исступленно, все равно человеческий голос бесследно потонул бы в этом, на десятки верст скрипуче-ревущем движении.

Детишки не плачут, не просят хлеба, только в подушках мотаются бледные головенки. Матери не уговаривают, не ласкают, не кормят, а идут возле повозок, исступленно глядя на петлями уходящее к облакам, бесконечно шевелящееся шоссе; и сухи глаза.

Загорается неподавимый дикий ужас, когда остановится лошадь. Все с звериным исступлением хватаются за колеса, подпирают плечами, разъяренно хлещут кнутом, кричат нечеловеческими голосами, но все их напряжение, всю надрывность спокойно, не торопясь, глотает ненасытный, стократ отраженный, стократ повторенный бесчисленный скрип колес.



А лошадь сделает шаг-другой, пошатнется, валится наземь, ломая дышло, и уже не поднять: вытянуты ноги, оскалена морда, и живой день меркнет в фиолетовых глазах.

Снимают детей; постарше мать исступленно колотит, чтоб шли, а маленьких берет на руки или сажает на горб. А если много... если много — одного, двух, самых маленьких, оставляет

в неподвижной повозке и уходит, с сухими глазами, не оглядываясь. А сзади, не глядя, идут так же медленно, обтекают движущиеся повозки — неподвижную, живые лошади — мертвую, живые дети — живых, и незамирающий, тысячекрат отраженный бесчисленный скрип спокойно глотает совершившееся.

Мать, несшая много верст ребенка, начинает шататься; подкашиваются ноги, плывет кругом шоссе, повозки, скалы.

— Ни... нэ до́йду.

Садится в сторонке на куче шоссейного щебня и смотрит и качает свое дитя, и мимо бесконечно тянутся повозки.

У ребенка открыт иссохший, почернелый ротик, глядят неподвижно васильковые глазки.

Она в отчаянии.

— Та нэма ж молока, мое сердце, мое ридне, моя квиточка...

Она безумно целует свое дитя, свою жизнь, свою последнюю радость. А глаза сухи.

Неподвижен почернелый ротик; неподвижно смотрят остановившиеся молочно-подернутые глазки. Она прижимает этот милый беспомощно холодеющий ротик к груди.

— Доню моя ридна, не будешь мучиться, в муках ждаты своей смерти.

В руках медленно остывающее тельце.

Разрывает щебень, кладет туда свое сокровище, снимает с шеи нательный крест, надевает через отяжелевшую холодную головенку пропотелый гайтан, зарывает и крестит, крестит без конца и края.

Мимо, не глядя, идут и идут. Неукротимо тянутся повозки, и стоит тысячеголосый, тысячекрат отраженный голодный скрип в голодных скалах.

Далеко впереди, в голове колонны, идут спешенные эскадронцы, насильно тянут за повсд еле ступающих коней, и уши у лошадей отвисли по-собачьему.

Становится жарко. Полчища мух, которых во время грозы

ни одной не было, — все укромно прилипли под повозками к дрожинам, — теперь носятся тучами.

— Гей, хлопцы! Та що ж вы, як коты, що почуялы, що зъилы чуже мясо, всн хвосты спустилы. Грай писни!..

Никто не отозвался. Так же утомленно-медленно шагали, тянули за собой лошадей.

— Эх, матери вашей требуху! Заводи графомон, нехай хочь вин грае...

Сам полез в мешок с пластинками, вытащил наобум одну и стал по складам разбирать:

— Б... бб... б... и... бби... мм, бим, бб...о — бим-бом... Шо таке за чудо?.. кк... ллл... кл... о... н... кло-у-ны... артисты смеха... Чудно! А ну, грай.

Он завел качавшийся на вьюке приторoченный граммофон, вставил пластинку и пустил.

С секунду на лице подержалось неподдельное изумление, потом глаза сузились в щелочки, рот разъехался до ушей, блеснули зубы, и он покатился подмывающе заразительным смехом. Вместо песни из граммофонного раструба вырвался ошеломляющий хохот: хохотали двое, то один, то другой, то вместе дуэтом. Хохотали самыми неожиданными голосами, то необыкновенно тонкими — как будто щекотали мальчишек, то побычьему — и все дрожало кругом; хохотали, задыхаясь, отмахиваясь; хохотали, как катающиеся в истерике женщины; хохотали, надрывая животики, исступленно; хохотали, как будто уж не могли остановиться.

Шедшие кругом кавалеристы стали улыбаться, глядя на трубу, которая дико, как безумная, хохотала на все лады. Пробежал смех по рядам; потом не удержались и сами стали хохотать в тон хохотавшей трубе, и хохот, разрастаясь и переходя по рядам, побежал дальше и дальше.

Добежал до медленно шагавшей пехоты, и там засмеялись, сами не зная чему, — тут не слышно было граммофона; хохо-

тали, подмываемые хохотом передних. И этот хохот неудержимо покатился по рядам в тыл.

— Та чого воны покатываются? якого им биса? — и сами начинали хохотать, размахивая руками, крутя головой.

— От его батькови хвоста у ноздрю...

Шли, и хохотала вся пехота, хохотал обоз, хохотали женщины, хохотали матери с безумным ужасом в глазах, хохотали люди на полтора десятка верст сквозь неумолчный голодный скрип колес, среди голодных скал.

Когда этот хохот добежал до Кожуха, он побледнел, стал желтый, как дубленый полушубок, в первый раз побледнел за все время похода.

— Шо такое?

Адъютант, удерживаясь от разбиравшего его смеха, сказал:

— А чорт их знает! Сказились. Я сейчас поеду, узнаю.

Кожух вырвал у него нагайку и поводья, неуклюже ввалился на седло и стал нещадно сечь лошадиные ребра. Исхудалый конь медленно шел с повисшими ушами, а нагайка стала просекать кожу. Он с трудом затрусил, а кругом катился хохот.

Кожух чувствовал, как у него начинает подергивать щеки, стиснул зубы. Наконец добрался до покатывающегося от хохота авангарда. Матерно выругался и вытянул по граммофону нагайкой.

— Замолчать!

Лопнувшая пластинка крякнула и смолкла. И молчание побежало по рядам, погашая хохот. Стоял доводящий до безумия безграничный, тысячекрат отраженный скрип, треск, грохот. Мимо отходили темные скалистые зубцы голодных ущелий.

Кто-то сказал:

— Перевал!

Шоссе, перегнувшись, петлями пошло вниз.

XXXI

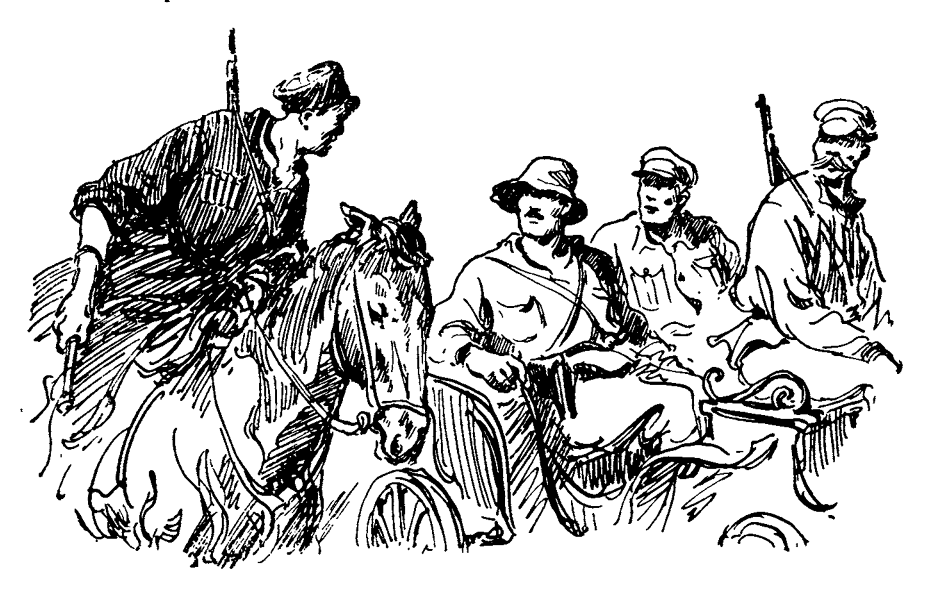
— Сколько их?

— Пятеро.

Пустынно и знойно струились лес, небо, дальние горы.

— Подряд?

— Подряд...



Кубанец из разъезда с потным лицом не договорил, сдернутый лошадью к гриве, — лошадь с мокрыми боками азартно отбивалась от мух, мотала головой, стараясь выдернуть из рук поводья.

Кожух сидел в бричке с кучером и адъютантом — мутно-красные, как из бани, разваренные. Кругом безлюдно.

— Далеко от шоссе?

Кубанец показал плетью влево:

— Верст с десяток або с пятнадцать, за перелеском.

— Сверток с шоссе туда есть?

— Есть.

— Козаков не видать?

— Ни-и, нэма. Наши верстов на двадцать проихалы вперед, и не воняе козаками. По хуторам говорять, козаки верстов за тридцать за речкой окопы роють.

Кожух поиграл желваками на сделавшемся вдруг спокойным желтом лице, как будто оно не было перед этим вареное, как мясо.

— Задержать голову армии, повернуть на сверток, пропустить мимо *них* все полки, беженцев, обозы!

Слегка нагнулся кубанец над лукой и осторожно, чтоб это не было принято за нарушение субординации, сказал:

— Крюк большой... падають люди... жара... не йилы.

Маленькие глазки Кожуха впились в знойно дрожавшую даль, стали серыми. Третьи сутки... Лица завалились, голодный блеск в глазах. Третьи сутки не ели. Горы сзади, но нужно итти изо всей мочи, выйти из пустынных предгорий, добраться до станиц, накормить людей и лошадей. И нужно спешить, не дать укрепиться казакам впереди. Нельзя терять ни минуты, нельзя терять эти десять — пятнадцать верст крюку.

Он посмотрел на молодое, почернелое от голодания и жары лицо кубанца. Глаза засветились сталью, и, протискивая слова сквозь зубы, сказал:

— Повернуть армию на сверток, пропустить мимо!

— Слушаю.

Поправил на голове круглую барашковую, мокрую от пота шапку, вытянул плетью ни в чем не повинную лошадь, и она разом повеселела, будто не было нестерпимо звенящего зноя, тучи оводов и мух, затанцовала, повернулась и весело поскакала к шоссе. Но шоссе не было, а бесконечно тянулись клубящимся валом серовато-белые облака пыли, подымаясь выше верхушек деревьев, и неоглядно терялись сзади в горах. И в

этих клубящихся облаках — чуялось — движутся тысячи голодных.

Бричка Кожуха, в которой нельзя дотронуться до деревянных частей, покатилась, и за ней покатилось нестерпимое знойно-звенящее дребезжание. Из-за сиденья выглядывал обжигающий пулемет.

Кубанец въехал в непроглядно волнующиеся удушливые облака. Ничего нельзя разобрать, но слышно — утомленно, бестолково и разрозненно идут разбившиеся ряды, едут конные, скрипят обозы. Черносожженные лица мутно отсвечивают капающим потом.

Ни говора, ни смеха, — тяжкое, плывущее вместе со всеми молчание. И в нем, в этом жарко переполненном молчании, те же разомлелые, разваренные, как попало, шаги, звуки копыт, скрип осей.

Понуро ступают лошади с бессильно свесившимися ушами.

Головенки детей переваливаются в повозках из стороны в сторону, и мутно белеют оскаленные зубы.

— Пи-ить... пи-ить...

Плывет удушливая, белесая, все покрывающая мгла, а в ней невидимо идут ряды, едут конные, со скрипом тянутся обозы. А может быть, это не зной, не плывущая белесая мгла, а налитое отчаяние, и нет надежды, нет мысли, лишь одна неизбежность. То, что железно сцепило, когда вошли в узкую дыру между морем и горами, затаенно шло все время вместе с ними, — теперь грозно глянуло концом: голодные, босые, изнуренные, в отрепьях, и солнце доканывает. А впереди жадно ждут сытые, приготовившиеся, окопавшиеся казачьи полки, хищные генералы.

Кубанец ехал в этих молчаливо-скрипучих удушливых облаках, только по окрикам разбираясь, где какая часть.

Временами разрывается серая мгла, и в просвете волнисто дрожат очертания холмов, млеет лес, струится голубое небо, и

в воспаленные лица солдат исступленно глядит солнце. И опять медленно ползет, все покрывая нестройным гулом шагов, разрозненными звуками копыт, скрипучей музыкой обозов, безнадежностью. По обочинам, неясно выступая в плывущих облаках, сидят и лежат обессилевшие, запрокинув головы, чернея открытыми иссохшими ртами, и вьются мухи.

Кубанец, натыкаясь на людей и лошадей, доехал до головного отряда, слегка нагнулся с седла, переговорил с командиром. Тот нахмурился, глянул на смутно идущих, поминутно проступающих и теряющихся солдат, приостановился и чужим, не похожим на свой, хриплым голосом скомандовал:

— По-олк, стой!..

Душная мгла сейчас же, как вата, проглотила его слова, но, оказывается, где нужно, услышали, и все удаляясь и все слабея, прокричали на разные голоса:

— Батальон, стой!.. Ро-ота... стой!..

И где-то совсем далеко едва уловимо подержалось и мягко погасло:

— ...сто-о-ой!..

Гул шагов в головной колонне смолк, и все дальше и дальше побежало замирание движения, и в остановившейся мутно-горячей мгле на секунду наступило не только молчание, но и тишина, великая тишина бесконечной усталости, беспощадного зноя. Потом разом наполнилась многочисленным сморканием; откашливали набившуюся пыль; поминали матерей; крутили из листьев и травы цыгарки, — и медленно оседающая пыль открывала лица, лошадиные морды, повозки.

Сидели на обочинах, в шоссейных канавах, держа между колен штыки. Неподвижно под палящим солнцем лежали, вытянувшись на спине.

Бессильно стояли лошади, свесив морды, не отгоняя густыми тучами липнувших мух.

— Вста-ва-ай!.. Эй, подымай-ся-а-а!..



Никто не шевельнулся, не тронулся: так же было неподвижно шоссе с людьми, лошадьми, повозками. Казалось, не было силы поднять людей, как груду камней, налитых зноем.

— Вставайте же... так вас и так... Какого дьявола!

Как приговоренные, поднимались по одному, по два и, не строясь и не дожидаясь команды, шли как попало, положив давящие винтовки на плечи, глядя воспаленными глазами.

Шли вразброд по шоссе, по обочинам, по косогорам. Заскрипели повозки, и бесчисленно затолклись тучи мух.

Обугленные лица, сверкающие белки. Вместо шапок под страшным солнцем на головах лопухи, ветки, жгуты навернутой соломы. Шагают босые, истрескавшиеся, почернелые ноги. Иной, как арап, чернеет голым телом, и лишь бахромой болтаются тряпки около причинного места. Сухие мышцы исхудало выступают под почернелой кожей. Шагают, закинув головы, с винтовками на плечах, крохотно сузив глаза, раскрыв пересохшие рты. Лохматая, оборванная, почернелая, голая, скрипучая орда, и идет за ней зной, и идут за ней голод и отчаяние. Сно-

ва нехотя изнеможенно подымаются белые облака, и с самых гор сползает в степь бесконечно клубящееся шоссе.

Вдруг неожиданно и странно:

— Правое плечо вперед!

И каждый раз, как подходит новая часть, с недоумением слышит:

— Правое плечо... правое... правое!..

Сначала удивленно, потом оживленной гурьбой сбегают на проселок. Он кремнист, без пыли, и видно, как торопливо сворачивают части, спускаются конные и, со скрипом и грузно покачиваясь, съезжает обоз, двуколки. Открываются дали, перелески, голубые горы. Все судорожно-знойно трепещет безумное солнце. Мухи черными полчищами тоже сворачивают. Медленно оседающие облака пыли и удушливое молчание остаются на шоссе, а проселок оживает голосами, восклицаниями, смехом.

— Та куда нас?

— Мабудь, в лис отведуть, трохи горло перемочить, дуже пересмякло.

— Голова!.. В лиси тоби перину сготовилы, растягайся.

— Та пышóк с каймаком напеклы.

— С маслом...

— Со смитаной...

— С мэдом...

— Та кавуна холодненького...

Высокий, костлявый, в изорванном, мокром от пота фраке, и болтаются грязные кружевные остатки, из которых все лезет наружу,— сердито сплюнул тягучую слюну:

— Та цытьте вы, собаки... замолчить!..

Злобно перетянул ремень, загнал живот под самые ребра и свирепо переложил с плеча на плечо отдавившую винтовку.

Хохот колыхнул густую тучу носившихся мух.

— Опанас, та що ж ты зад прикрыв, а передницу усю на

показ? Сдвинь портки с заду на перед, а то бабы у станицы не дадут варэникив — будут вид тéбе морды воротить.

— Го-го-го... Хо-хо-хо...

— Хлопцы, а ей-бо, должно, дневка.

— Та тут нияких станиц нэма, я же знаю.

— Що брехать. Вон от шаше столбы пишлы, телеграф. А куда ж вин, як не в станицу?

— Гей, кавалерия, що ж вы задаром хлеб едите, — грайте.

С лошади, покачивавшей на вьюке притороченный граммофон, с хрипотой понеслось:

Ку-да, куда-а-а... пш-пш... вы уда-ли-лись...
пш... пш... ве-ес-ны-ы...

Понеслось среди зноя, среди черных колеблющихся мушиных туч, среди измученно, но весело шагающих, покрытых потом и белою мукою, изодранных, голых людей, и солнце смотрело с исступленным равнодушием. Горячим свинцом налитые, еле передвигающиеся ноги, а чей-то пересмякший высокий тенор начал:

А-а хо-зяйка до-бре зна-ла...

Да оборвалось — перехватило сухотой горло. Другие такие же зноем охриплые голоса подхватили:

...Чо-го мо-скаль хо-че,
Тильки жда-ла ба-ра-ба-на,
Як вин за-тур-ко-че...

Почернелые лица повеселели, и в разных концах хоть и хрипло, но дружно подхватили тонкие и толстые голоса:

Як дож-да-лась ба-ра-ба-на,
«Слава ж то-би, бо-же!»
Та и ка-же мос-ка-леви:
«Ва-ре-ни-кив, може?»

Аж пид-скочив мос-каль,
Та ни-ко-ли жда-ти:
«Лав-рени-и-ки, лав-рени-и-ки!»
Тай по-биг из ха-ты...

И долго вразбивку, нестройно, хрипло над толпой носилось:

Ва-ре-ники!.. Ва-ре-ни-ки!..
...Ку-у-да-а, ку-у-да ве-ес-ны-ы мо-ей зла-ты-е дни-и...

— Э-э, глянь: батько!

Все, проходя, поворачивали головы и смотрели: да, он, все такой же: небольшой, коренастый, гриб с обвисшей грязной соломенной шляпой. Стоит, смотрит на них. И волосатая грудь смотрит из рваной, пропотелой, с отвисшим воротом гимнастерки. Обвисли отрепья, и выглядывают из рваных опорок потрескавшиеся ноги.

— Хлопцы, а наш батько дуже на бандита похож: в лиси встренься — сховаешься от его.

С любовью глядят и смеются.

А он пропускает мимо себя нестройные, ленивые, медленно гудящие толпы и сверлит маленькими неупускающими глазками, которые стали сини на железном лице.

«Да... орда, разбойная орда, — думает Кожух, — встренься зараз козаки, все пропало... Орда!..»

Ку-да-а... ку-да-а вы уда-ли-лись... пшш... пшш
...Ва-ре-ни-ки!.. ва-ре-ни-ки!..

— Що таке? що таке? — побежало по толпам, погашая и «куда, куда...» и «вареники...»

Водворилось могильное молчание, полное гула шагов, и все головы повернулись, все глаза потянулись в одну сторону — в ту сторону, куда, как по нитке, уходили телеграфные столбы, становясь все меньше и меньше и пропадая в дрожащем зное тоненькими карандашами. На ближних четырех столбах непо-

движно висело четыре голых человека. Черно кишели густо взлетающие мухи. Головы нагнуты, как будто молодыми подбородками прижимали прихватившую их петлю; оскаленные зубы; черные ямы выклеванных глаз. Из расклеванного живота тянулись ослизло-зеленые внутренности. Палило солнце. Кожа, черно-иссеченная шомполами, полопалась. Воронье поднялось, расселось по верхушкам столбов, поглядывало боком вниз.

Четверо, а пятая... а на пятом была девушка с вырезанными грудями, голая и почернелая.

— Полк, сто-ой!..

На первом столбе белела прибитая бумага.

— Батальон, сто-ой!.. Рота, сто-ой!..

Так и пошло по колонне, замирая.

От этих пятерых плыло безмолвие и сладкий, приторный смрад.

Кожух снял изодранную, обвислую шляпу. И все, у кого были шапки, сняли. А у кого не было, сняли навернутую на голове солому, траву, ветки.

Палило солнце.

И смрад, сладкий смрад.

— Товарищи, дайте сюда.

Адъютант сорвал белевшую на столбе около мертвеца бумагу и подал. Кожух стиснул челюсти, и сквозь зубы пролезали слова:

— Товарищи, — и показал бумагу, которая на солнце ослепительно вырезалась белизной, — от генерала до вас. Генерал Покровский пишет: «Такой жестокой казни, как эти пятеро мерзавцев с Майкопского завода, будут преданы все, кто будет замечен в малейшем отношении к большевикам». — И стиснул челюсти. Помолчав, добавил: — Ваши братья и... сестра.

И опять стиснул, не давая себе говорить, — не о чем было говорить.

Тысячи блестящих глаз смотрели, не мигая. Билось одно нечеловечески-огромное сердце.

Из глазных ям капали черные капли. Плыл смрад.

В безмолвии погас звенящий зной, тонкое зуденье мушиных полчищ. Только могильное молчание да пряный смрад. Капали капли.

— Сми-ир-но!.. Шагом арш!..

Гул тяжелых шагов сразу сорвал тишину, ровно и мерно заполнил зной, как будто идет один человек несказанного роста, несказанной тяжести, и бьется одно огромное, нечеловечески-огромное сердце.



Идут и, не замечая того, все ускоряют тяжело отдающийся шаг, идут все размашистее. Безумно смотрит солнце.

В первом взводе с правого фланга покачнулся с черненькими усиками, выронил винтовку, грохнулся. Лицо багрово вздулось, напружились жилы на шее, и глаза красные, как мясо, закатились. Исступленно глядит солнце.

Никто не запнулся, не приостановился — уходили еще размашистее, еще торопливее, спеша и глядя вперед блестящими глазами, глядя в знойно трепещущую даль.

— Санитар!

Подъехала двуколка, подняли, положили, — солнце убило. Прошли немного, повалился еще один, потом два.

— Двуколку!

Команда:

— Накройсь!

Кто имел, накрылись шапками. Иные развернули дамские зонтики. Кто не имел, на ходу хватали сухую траву, наворачивали вокруг маковки. На ходу рвали с себя потное, пропитанное пылью тряпье, стаскивали штаны, рвали на куски, покрывались по-бабьи платочками и шли гулко, тяжело, размашисто, мелькая голыми ногами, пожирая уходившее под ногами шоссе.

Кожух в бричке хочет догнать головную часть. Кучер, вывалив рачьи от жары глаза, сечет, оставляя потные полосы на крупах. Лошади, в мыле, бегут, но никак не могут обогнать, — все быстрее, все размашистее идут тяжелые ряды.

— Що воны, сказылись?.. Як зайцы, скачуть...

И опять сечет и дергает заморенных лошадей.

«Добре, диты, добре... — из-под насунутого на глаза черепа поглядывает Кожух, а глаза — голубая сталь. — Так по семьдесят верстов будэмо уходить в сутки...»

Он слезает и идет, напрягаясь, чтобы не отстать, и теряется в быстро, бесконечно, тяжело идущих рядах.

Столбы уходят вдаль, пустые, одинокие. Голова колонны свертывает вправо. И когда поднимается на пустынное шоссе, опять неотвратимо встают и окутывают душные облака. Ничего не видно. Только тяжелый гул шагов, ровный, мерный, наполняет громадой удушливо волнующиеся облака, которые быстро катятся вперед.

А к оставленным столбам часть за частью подходит, останавливается.

Как мгла, наплывает, погашая звуки, могильная тишина. Командир читает генеральскую бумагу. Тысячи блестящих глаз

глядят, не мигая, и бьется одним биением сердце, бьется одно невиданно-огромное сердце.

Все так же неподвижны пятеро. Под петлями разлезлось почернелое мясо, забелели кости.

На верхушке столбов сидит воронье, бочком блестящим глазом поглядывает вниз. Стоит густой, сладкий до тошноты запах жареного мяса.

Потом мерным гулом отбивают шаг все быстрее; сами не замечая, без команды постепенно выравниваются в тяжелые тесные ряды. И идут, позабыв, с обнаженными головами, не видя ни уходящих, как по нитке, столбов, ни страшно коротких, резких до черноты полуденных теней, впиваясь искорками мучительно суженных глаз в далекое знойное трепетанье.

И команда:

— Накройсь!..

Идут все быстрее, все размашистее тяжелыми ровными рядами, сворачивая вправо, вливаясь в шоссе, и облака глотают и катятся вместе с ними.

Проходят тысячи, десятки тысяч людей. Уже нет взводов, нет рот, батальонов, нет полков, — есть одно неназываемое, громадное, единое. Бесчисленными шагами идет, бесчисленными глазами смотрит, множеством сердец бьется одно неохватимое сердце.

И все, как один, не отрываясь, впились в знойную даль.

Легли длинные косые тени. Сине затуманились назади горы. Завалилось за край ослабевшее, усталое, подобревшее солнце. Тяжело тянутся повозки, арбы с детьми, с ранеными.

Их останавливают на минуту и говорят:

— Ваши братья... Генеральские дела...

Потом двигаются дальше, и лишь слышен скрип колес. Только ребятишки испуганно шушукаются:

— Мамо, а мертвяки до нас ночью не придут?

Бабы крестятся, сморкаются в подол, вытирают глаза:

— Жалкие вы наши...

Старики смутно идут у повозок. И все становится неугадываемо. Уже нет столбов, а стоят в темноте громады, подпирающие небо. И небо все бесчисленно заиграло, но от этого не стало светлей. И будто горы кругом чернеют, а это, оказывается, косогоры, а горы давно заслонила ночь, чудится кругом незнаемая, таинственная, смутная равнина, на которой все возможно.

Проносится такой темный женский вскрик, что игравшие звезды все полохнулись в одну сторону.

— Ай-яй-яй... що воны зробылы з ими!.. Та зверюки... Та скаженнии... Ратуйте, добрии людэ... Смотрите ж на их!..

Она хватается за столб, обнимает холодные ноги, прижимаясь молодыми растрепавшимися волосами.

Дюжие руки с трудом отдирают от столба и волокут к повозке. Она по-змеиному вывертывается, опять бросается, обнимая, и опять само испуганно заигравшее небо безумно мечется:

— Та дэ ж ваша мамо? дэ ж ваши сэстры? Чи вы не хотилы житы... Дэ ж ваши очи ясные, дэ ж ваша сила, дэ ж ваше слово ласкàве?.. Ой, нэбоги! ой, бесталанны! Никому над вами поплакаты, никому погорюваты... никому сльозьми вас покропиты...

Ее опять хватают, она скользко вырывается, и снова безумная ночь мечется:

— Та чого ж воны наробилы!.. Сына зйилы, Степана зйилы, вас пойилы. Так йишты всих до разу, с кровью, с мясом, йишты, шоб захлебнуться вам, шоб набить утробу человечиной, костями, глазами, мозгами...

— Тю-у! Та схаменися...

Повозки не стоят, скрипят дальше. Ушла и ее повозка. Ее хватают другие, она вырывается, и опять не крики, а исступленно рвется темнота, мечется безумная ночь.

Только арьергард, проходя, силой взял ее. Привязали на последней повозке. Ушли.

И было безлюдно, и стоял смрад.

XXXII

У выхода шоссе из гор жадно ждут казаки. С тех пор как по всей Кубани разлился пожар восстания, большевистские силы повсюду отступают перед казацкими полками, перед офицерскими частями добровольческой армии, перед «кадетами», нигде не в состоянии задержаться, упереться, остановить остервенелый напор генералов,— и отдают город за городом, станицу за станицей.

Еще при начале восстания часть большевистских сил выскользнула из железного кольца восставших и нестройной громадной разложившейся оравой с десятками тысяч беженцев, с тысячами повозок побежала по узкой полосе между морем и горами. Их не успели догнать, так быстро они бежали, а теперь казацкие полки залегли и дожидаются.

У казаков сведения, что потоком льющиеся через горы банды везут с собой несметно-награбленные богатства — золото, драгоценные камни, одежду, граммофоны, громадное количество оружия, военных припасов, но идут рваные, босые, без шапок, — очевидно, в силу старой босяцкой привычки бездомной жизни. И казаки, от генерала до последнего рядового, нетерпеливо облизываются, — все, все богатства, все драгоценности — все неудержимо само плывет им в руки.

Генерал Деникин поручил генералу Покровскому сформировать в Екатеринодаре части, окружить ими спускающиеся с гор банды и не выпустить ни одного живым. Покровский сформировал корпус, прекрасно снабженный, перегородил дорогу по реке Белой, белой от пены, несущейся с гор. Часть отряда послал навстречу.

Весело едут, лихо заломив папахи, казаки на сытых, добрых лошадях, поматывающих головами и просящих повода. Звенит чеканное оружие, блестит на солнце; стройно покачиваются перехваченные поясами черкески, и белеют ленточки на папахах.

Проезжают через станицы с песнями, и казачки выносят своим служивым и пареное и жареное, а старики выкатывают бочки с вином.

— Вы же нам хочь одного балшевика приведите на показ, хочь посмотреть его, нового, с-за гор.

— Пригоним, готовьте перекладины.

Лихо умели казаки пить и лихо рубиться.

Вдали бело заклубились гигантские облака пыли.

— Ага, вот они!

Вот они — рваные, черные, в болтающихся лохмотьях, в соломе и траве вместо шапок.

Поправили папахи, выдернули блеснувшие с мгновенным звуком шашки, пригнулись к лукам, и полетели казацкие кони, ветер засвистел в ушах.

— Эх, и рубанем же!

— Урра-а!

В полторы-две минуты произошло чудовищно-неожиданное: налетели, сшиблись и пошли бешено лететь с лошадей казаки с разрубленными папахами, с перерубленными шеями, либо сразу на штыки подымают и лошадь и всадника. Повернули коней, полетели, так пригнулись, что и не видать, и ветер еще больше засвистел в ушах, а их стали снимать с лошадей певучими пулями. Наседают проклятые босяки, гонят две, три, пять, десять верст, — одно спасение: кони у них мореные.

Полетели казаки через станицу, а те ворвались, стали рвать свежих лошадей, рубить направо-налево, если не сразу выводили им из конюшен, и опять погнали, и много казацких папах с белыми ленточками раскатилось по степи, и много черкесок,

тонко перехваченных серебряными с чернью поясами, зачернело по синеющим курганам, по желтому жнивью, по перелескам.

Только тогда отодрались от погони, когда домчались казаки до своих передовых сил, залегших в окопах.



А спустившиеся с гор босые, голые банды бежали что есть духу за своими эскадронами. И заговорили орудия, застрекотали пулеметы.

Не захотел Кожух развертывать свои силы днем: знал — большой перевес у врага, не хотел обнаружить свою числен-

ность, дождался темноты. А когда густо стемнело, произошло то же, что и днем: не люди, а дьяволы навалились на казаков. Казаки их рубили, кололи, рядами клали из пулеметов, а казаков становилось все меньше и меньше, все слабее ухали, изрыгая длинные полосы огня, их орудия, реже стрекотали пулеметы, и уже не слышно винтовок, — ложатся казаки.

И не выдержали, побежали. Но и ночь не спасала: полосой ложились казаки под шашками и штыками. Тогда бросились врассыпную, кто куда, отдав орудия, пулеметы, снаряды, рассыпались среди ночи по перелескам, по оврагам, не понимая, что за дьявольскую силу нанесло на них.

А когда солнце длинно глянуло из-за степных увалов, по бескрайной степи много черноусых казаков: ни раненых, ни пленных — все недвижимы.

В тылу, в обозе, среди беженцев курились костры, варили в котелках, жевали лошади сено и овес. Вдали гремела канонада, никто не обращал внимания, — привыкли. Только когда смолкло, показались с фронта — то конный ординарец с приказаниями, то фуражир, то солдатик, тайком пробирающийся повидать семью. И со всех сторон женщины, с почернелыми, измученными лицами, кидались к нему, хватали за стремена, за поводья:

— Што с моим?

— А мой?

— Жив ай нет?

С молящими, полными ужаса и надежды глазами.

А тот едет рысцой, слегка помахивая нагайкой, роняет навстречу то одной, то другой:

— Жив... Живой... Раненый... Раненый... Убитый, зараз привезут...

Он проезжает, а за ним либо радостно, облегченно крестятся, либо заголосит, либо ахнет и повалится замертво, и льют на нее воду.

Привезут раненых, — матери, жены, сестры, невесты, соседки ухаживают. Привезут мертвых, — бьются на груди у них, и далеко слышны невозвратимые слезы, вой, рыдания.

А конные уже поехали за попом.

— Як скотину хороним, без креста, без ладана.

А поп ломается, говорит — голова болит.

— А-а, голова-а... а не хочешь... задницу будем лечить.

Вытянули нагайкой раз, другой — вскочил поп, как встрепанный, засуетился. Велели ему облачиться. Просунул голову в дыру, надел черную с белым позументом ризу, — книзу разошлась, как на обруче, — такую же траурную епитрахиль. Выпростал патлы. Велели взять крест, кадило, ладан.

Пригнали дьякона, дьячка. Дьякон — огромный проспиртованный мужчина, тоже весь траурный, черный с позументами, рожа — красная. Дьячок — поджарый.

Обрядились. Погнали всех троих. Лошади идут иноходью. Торопится поп с дьяконом и дьячком. Лошади поматывают мордами, а всадники помахивают нагайками.

А за обозом, возле садов на кладбище, уже неисчислимо толпится народ. Смотрят. Увидали:

— Бачь, попа гонють.

Закрестились бабы:

— Ну, слава богу, як треба, похоронють.

А солдаты:

— Бачь — и дьякона пригнали и дьяка.

— Дьякон дуже гарный: пузо, як у борова.

Подошли те торопливо, не отдышатся, пот ручьем. Дьячок живой рукой задул кадило. Мертвые неподвижно лежали со сложенными руками.

— Благословен господь...

Дьякон устало слегка забасил, а дьячок слабо всплыл скороговоркой, гундося в нос:

Свя-а-тый боже, свя-а-тый крепкий, свя-а-тый бессмер...

Синевато струится кадильный дымок. Бабы придушенно всхлипывают, зажимая рты. Солдаты стоят сурово, с черными исхудалыми лицами — им не слышно поповских голосов.

Сидевший без шапки на высокой гнедой лошади кубанец, пригнавший причт, слегка толкнул лошадь — она переступила; он набожно нагнулся к попу и сказал шопотом, который разнесся по всему кладбищу:

— Ты, ммать ттвою, колы будэшь, як некормлена свыня, усю шкуру...

Поп, дьякон, дьячок в ужасе скосили на него глаза. И сейчас же дьякон заревел потрясающим ревом, — вороны шумно поднялись со всего кладбища; поп залился тенором, а дьячок, приподнявшись на цыпочки и закатив глаза, пустил тонкую фистулу, — в ушах зазвенело.

Со-о свя-а-ты-ми у-у-по-ко-ой...

Кубанец оттянул назад лошадь и сидел неподвижно, как изваяние, мрачно нахмурив брови. Все закрестились и закланялись.

Когда закапывали, дали три залпа. И бабы, сморкаясь и вытирая набрякшие глаза, говорили:

— Дуже хорошо служил батюшка — душевно.

XXXIII

Ночь поглотила громаду степи и увалы, и синевшие весь день на краю проклятые горы, и станицу на вражеской стороне, — там ни одного огонька, ни звука, как будто ее нет. Даже собаки молчат, напуганные дневной канонадой. Лишь шумит река.

Целый день за невидимой теперь рекой, из-за сереющих казацких окопов, потрясающе ухали орудия. Не жалея снарядов,

били они. И бесчисленные клубочки бело вспыхивали над степью, над садами, над оврагами. Им отсюда отвечали редко, устало, нехотя.

— А-а-а... — злорадно говорили казацкие артиллеристы, — за шкуру берет... — подхватывали орудия, накатывали, и опять звенел снаряд.

Для них было ясно: на той стороне подорвались, ослабли, уже не отвечают выстрелом на выстрел. Перед вечером босяки повели было наступление из-за реки, да так зашпарили им — цепи все разлезлись, позалегли, кто куда. Жалко, что ночь, а то бы дали им. Ну, да еще будет утро.

Шумит река, наполняет шумом всю темноту. А Кожух доволен, и серой сталью тоненько посвечивают крохотные глазки. Доволен: армия в руках у него, как инструмент, послушный и гибкий. Вот он пустил перед вечером цепи, велел наступать вяло и залечь. И теперь, когда среди ночи, среди бархатной тьмы пошел проверить, — все на местах, все над самой рекой, а под шестисаженным обрывом шумит вода; шумит река и напоминает ту шумящую реку и ночь, когда все это началось.

Каждый из солдат проползал в темноте, щупал, мерил обрыв. Каждый солдат залегших полков знал, изучил свое место. Не ждал, как баран, куда пихнут командиры.

В горах пошли дожди; днем река неслась бешеной пеной, а теперь шумит. Знают солдаты — уже ухитрились вымерить — река сейчас два-три аршина глубиной, придется местами плыть, — ничего, и поплавать можно. Еще засветло, лежа в углублениях, в промоинах, в кустах, в высокой траве под непрерывно рвущимся шрапнельным огнем, высмотрели, каждый на своем участке, кусок окопа, на той стороне реки, на который он ударит.

Влево перекинулось два моста: железнодорожный и деревянный; теперь их не видно. Казаки навели на них батарею и поставили пулемет — этого тоже не видно.

В ночной темноте, полной шума реки, недвижимо стоят против мостов, по приказу Кожуха, кавалерийский и пехотный полки.

Ночь медленно течет без звезд, без звуков, без движения, лишь шум невидимо бегущей воды монотонно наполняет ее пустынную громаду.

Казаки сидели в окопах, слушали шум несущейся воды, не выпуская винтовок, хотя знали, что босяки ночью не сунутся через реку — достаточно им насыпали, — и ждали. Ночь медленно плыла.

Солдаты лежали на краю обрыва, как барсуки, свесив в темноте головы, слушали вместе с казаками шум несущейся воды и ждали. И то, чего ждали и что, казалось, никогда не наступит, стало наступать: медленно, трудно, как намек, стал рождаться рассвет.

Ничего еще не видно — ни красок, ни линий, ни очертаний, но темнота стала больной, стала прозрачнеть. Разморенно предрассветное бдение.

Что-то неуловимое пробежало по левому берегу, — не то электрическая искра, не то промчалась беззвучно стайка ласточек.

С шестисаженной высоты, как из мешка, посыпались солдаты вместе с грудой посыпавшейся глины, песка и мелкого камня... Шумит река...

Тысячи тел родили тысячи всплесков, тысячи заглушенных шумом реки всплесков... Шумит река, монотонно шумит река...

Лес штыков вырос в серой мгле рассвета пред изумленными казаками, закипела работа в реве, в кряканьи, в стоне, в ругательствах. Не было людей — было кишевшее, переплетшееся кровавое зверье. Казаки клали десятками, сами ложились сотнями. Дьявольская, непонятно откуда явившаяся сила опять стала на них наваливаться. Да разве это те большевики, которых они гнали по всей Кубани? Нет, это что-то другое. Недаром они все голые, почернелые, в лохмотьях.



Как только по всему пространству дико заревел правый берег, артиллерия и пулеметы через головы своих стали засыпать станицу, а кавалерийский полк исступленно понесся через мосты; за ним, надрываясь, бежала пехота. Захвачена батарея, пулеметы, и по всей станице разлились эскадроны. Видели, как из одной хаты вырвалось белое и с поразительной быстротой пропало на неоседланной лошади во мгле рассвета.

Хаты, тополя, белеющая церковь — все проступало яснее и яснее. За садами краснела заря.

Из поповского дома выводили людей с пепельными лицами, в золотых погонах, — захватили часть штаба. Возле поповской конюшни им рубили головы, и кровь впитывалась в навоз.

За гомоном, криками, выстрелами, ругательствами, стонами не слышно было, как шумит река.

Разыскали дом станичного атамана. От чердака до подвала все обыскали, — нет его. Убежал. Тогда стали кричать:

— Колы нэ вылизишь, дитэй сгубим!

Атаман не вылез.

Стали рубить детей. Атаманша на коленях волочилась с разметавшимися косами, неотдираемо хватаясь за их ноги. Один укоризненно сказал:

— Чого ж кричишь, як ризаная? От у мене, аккурат як твоя дочка, трехлетка... В щебень закопалы там, у горах, — та я ж не кричав.

Срубил девочку, потом развалил череп хохотавшей матери.

Около одной хаты с рассыпанными по земле стеклами собралась кучка железнодорожников.

— Генерал Покровский ночевал. Трошки не застукали. Как услыхал вас, высадил окно совсем с рамой, в одной рубахе, без подштанников, вскочил на неоседланную лошадь и ускакал.

Эскадронец хмуро:

— Чого ж вин без порток? Чи у бани був?

— Спал.

— Як же ж то: спал, а сам без порток? Чи так бувае?

— Господа завсегда так: дохтура велять.

— От гады! И сплять, как нѐлюди.

Плюнул и пошел прочь.

Казаки бежали. Семьсот лежало их, наваленных в окопах и длинной полосой в степи. Только мертвые. И опять у бежавших среди напряжения к спасению подымалось неподавимое изумление перед этой неведомой сатанинской силой.

Всего два дня тому назад эту самую станицу занимали главные большевистские силы; казаки их выбили с налету, гнали и теперь гонят посланные части. Откуда же эти? И не сатана ли им помогает?

Показавшееся над далеким степным краем солнце длинно и косо слепило бегущих.

Далеко раскинулся обоз и беженцы по степи, по перелескам, по увалам. Все те же синие дымки над кострами; те же нечеловеческие костлявые головенки детские не держатся на тоненьких шеях. Так же на белеюще-разостланных грузинских палатках лежат мертвые со сложенными руками, и истерически бьются женщины, рвут на себе волосы, — другие женщины, не те, что прошлый раз.

Около конных толпятся солдаты.

— Та вы куды?

— Та за попом.

— Та Кожух звелив оркестр дать, що у козаков забралы.

— Шо ж оркестр? Оркестр — меднии трубы, а у попа жива глотка.

— Та на якого биса его глотка? Як зареве, аж у животи болить. А оркестр — воинска честь.

— Оркестр! оркестр!..

— Попа!.. попа!..

И «оркестр» и «поп» перемешивались с самой соленой руганью. Прослышавшие бабы прибежали и ожесточенно кричали:

— Попа! попа!

Подбежавшие молодые солдаты:

— Оркестр! оркестр!

Оркестр одолел.

Конные стали слезать с лошадей.

— Ну, шо ж, зовите оркестр.

Нескончаемо идут беженцы, солдаты, и торжественно, внося печаль и чувство силы, мрачно и медленно звучат медные голоса, и медно сияет солнце.

XXXIV

Казаки были разбиты, но Кожух не трогался с места, хотя надо было выступать во что бы то ни стало. Лазутчики, перебежчики из населения, в один голос говорили — казаки снова сосредоточивают силы, организуются. Непрерывно от Екатеринодара подходят подкрепления; погромыхивая, подтягиваются батареи; грозно и тесно идут офицерские батальоны, все новые и новые прибывают казачьи сотни, — темнеет кругом Кожуха, темнеет все гуще огромно скопляющаяся сила. Ох, надо ухо-

дить! Надо уходить; еще можно прорваться, еще недалеко ушли главные силы, а Кожух... стоит.

Нехватает духу двинуться, не дождавшись отставших колонн. Знает — небоеспособны они; если предоставить их своим силам, казаки разнесут их вдребезги — все будут истреблены. И тогда в славе, которая должна осенить будущее Кожуха, как спасителя десятков тысяч людей, это истребление будет меркнущим пятном.

И он стал ждать, а казаки накапливали темно густеющие силы. Железный охват совершался с неодолимой силой, и в подтверждение, тяжко потрясая и степь и небо, загремела вражеская артиллерия, и без перерыва стала рваться шрапнель, засыпая людей осколками, — а Кожух не двигался, только отдал приказание открыть ответный огонь. Днем над теми и другими окопами поминутно вспыхивали белые клубочки, нежно тая; ночью чернота поминутно раззевалась огненным зевом, и уже не слышно было, как шумит река.

Прошел день, прошла ночь; гремят, нагреваясь, орудия, а задних колонн нет, все нет. Прошел второй день, вторая ночь, а колонн все нет. Стали таять патроны, снаряды. Велел Кожух бережней вести огонь. Приободрились казаки; видят — реже отвечать стали и не идут дальше, — ослабли, думают, и стали готовить кулак.

Три дня не спал Кожух; стало лицо, как дубленый полушубок; чует, будто по колена уходят в землю ноги. Пришла четвертая ночь, поминутно вспыхивающая орудийными вспышками. Кожух говорит:

— Я на часок ляжу, но ежели что, будите сейчас же.

Только завел глаза, бегут:

— Товарищ Кожух! Товарищ Кожух!.. плохо дело...

Вскочил Кожух, ничего не поймет, где он, что с ним. Провел рукой по лицу, паутину снимает, и вдруг его поразило молчание, — день и ночь раскатами гремевшие орудия молчали,

только винтовочная трескотня наполняла темноту. Плохо дело,— значит, сошлись вплотную. Может, уже и фронт проломан. И услыхал он, как шумит река.

Добежал до штаба — видит, лица переменились у всех, стали серые. Вырвал трубку—пригодились грузинские телефоны.

—Я—командующий.

Слышит, как мышь пищит в трубку:

—Товарищ Кожух, дайте подкрепление. Не могу держаться. Кулак. Офицерские части...

Кожух каменно в трубку:

— Подкрепления не дам, нету. Держитесь до последнего.

Оттуда:



—Не могу. Удар сосредоточен на мне, не выд...

—Держитесь, вам говорят! В резерве —ни одного человека. Сейчас сам буду.

Уже не слышит Кожух, как шумит река: слышит, как в темноте раскатывается впереди, вправо и влево ружейная трескотня.

Велел Кожух... да не успел договорить: а-а-а!..

Даром, что темь, разобрал Кожух: казаки ворвались, рубят направо-налево, — прорыв, конная часть влетела.

Кинулся Кожух; прямо на него набежал командир, который только что говорил.

— Товарищ Кожух...

— Вы зачем здесь?

— Я не могу больше держаться... там прорыв...

— Как вы смели бросить свою часть?!

— Товарищ Кожух, я пришел лично просить подкрепления.

— Арестовать!

А в кромешном мраке крики, хряст, выстрелы. Из-за повозок, из-за тюков, из-за черноты изб вонзаются в темноту мгновенные огоньки револьверных, винтовочных выстрелов. Где свои? где чужие? сам чорт не разберет... А может, друг друга свои же бьют... А может, это снится?..

Бежит адъютант, в темноте Кожух угадывает его фигуру.

— Товарищ Кожух...

Взволнованный голос, — хочется малому жить. И вдруг адъютант слышит:

— Ну... что ж, конец, что ли?

Неслышанный голос, никогда не слышанный кожухов голос. Выстрелы, крики, хряст, стоны, а у адъютанта где-то глубоко, полусознанно, мгновенно, как искра, и немножко злорадно:

«Ага-а, и ты такой же, как все... жить-то хочешь...»

Но это только долю секунды. Темь, не видно, но чувствуется каменное лицо у Кожуха, и ломанно-железный голос сквозь стиснутые челюсти:

— Немедленно от штаба пулемет к прорыву. Собрать всех штабных, обозных; сколько можно, отожмите казаков к повозкам. Эскадрон с правого фланга!..

— Слушаю.

Исчез в темноте адъютант. Все те же крики, выстрелы, стоны, топот. Кожух — бегом. Направо, налево вспыхивающие язычки винтовок, а саженей на пятьдесят темно — тут прорвались казаки, но солдаты не разбежались, а только попятились, залегли, где как попало, и отстреливались. В черноте можно разглядеть перебегающие спереди сгустки людей, все ближе и

ближе... залегают, и оттуда начинают вонзаться вспыхивающие язычки, а солдаты стреляют по огонькам.

Подкатили штабной пулемет. Кожух приказал прекратить стрельбу и стрелять только по команде. Сел за пулемет и разом почувствовал себя, как рыба в воде. Направо, налево трескотня, вспышки. Вражеская цепь, как только солдаты прекратили стрельбу, бросилась: ура-а-а!.. Уже близко, уже различимы отдельные фигуры: согнувшись, бегут, винтовки наперевес.

— Пачками!

И повел пулеметом.

Тырр-тырр-тырр-тыр...

И как темные карточные домики, стали валиться черные сгустки. Цепь дрогнула, подалась... Побежали назад, редея. Снова непроглядная темь. Реже выстрелы, и, постепенно нарастая, стал слышен шум реки.

А позади, в глубине, тоже стали стихать выстрелы, крики; казаки, не поддержанные, постепенно рассеялись, бросали лошадей, залезали под повозки, забирались в черные избы. Человек десять взяли живьем. Их рубили шашками через рот, из которого пахло водкой.

Чуть посерел рассвет, взвод повел на кладбище арестованного командира. Вернулись без него.

Поднялось солнце, осветило неподвижно-ломаную цепь мертвецов, точно неровно отхлынувший прибой оставил. Местами лежали кучами — там, где ночью был Кожух. Прислали парламентера. Кожух разрешил подобрать: гнить будут под жарким солнцем — зараза.

Подобрали, и опять заговорили орудия, опять нечеловеческий грохот сотрясает степь, небо и тяжко отдается в груди и мозгу.

Рвутся в синеве чугунно-свинцовые осколки. Живые сидят и ходят с открытыми ртами — легче ушам; мертвые неподвижно ждут, когда унесут в тыл.

Тают патроны, пустеют зарядные ящики. Не двигается Кожух, не слыхать подходящих колонн. Созывает совещание, не хочет брать на себя: остаться — всем погибнуть; пробиться — задним колоннам погибнуть.

XXXV

Далеко в тылу, где бескрайно по степи повозки, лошади, старики, дети, раненые, говор, гомон, — засинели сумерки. Засинели сумерки, засинели дымки от костров, как это каждый вечер.

Нужды нет, что это десятка за полтора верст, за далеким краем степи, а земля целый день поминутно тяжело вздрагивает под ногами от далекого грохота; вот и сейчас... да привыкли, не замечают.

Синеют сумерки, синеют дымки, синеет далекий лес. А между лесом и повозками синеет поле, пустынное, затаенное.

Говор, лязг, голоса животных, звук ведер, детский плач и бесчисленно краснеющие пятна костров.

В эту домашность, в эту мирную смутность долетело, родившись в лесу, такое чуждое, далекое в своей чуждости.

Сначала потянулось отдаленное: а-а-а-а!.. оттуда, из мути сумерек, из мути леса: а-а-а-а!..

Потом зачернелось, отделившись от леса, — сгусток, другой, третий... И черные тени развернулись, слились вдоль всего леса в черную колеблющуюся полосу, и покатилась она к лагерю, вырастая, и покатилось с нею, вырастая, все то же, полное смертельной тоски: рра-а-а!..

Все головы, сколько их ни было, — и людей и животных, — повернулись туда, к смутному лесу, от которого катилась на лагерь неровная полоса, и по ней мгновенно вспыхивали и никли узкие взблески.

Головы были повернуты, костры краснели пятнами.

И все услышали: земля вся, в самой утробе своей, тяжело наполнилась конским топотом, и заглушились вздрагивающие далекие орудийные удары.

...А-а-аа!

Между колесами, оглоблями, кострами заметались голоса, полные обреченности:

— Козаки!.. козаки!.. ко-за-а-ки-и!..

Лошади перестали жевать, навострили уши, откуда-то приставшие собаки забились под повозки.

Никто не бежал, не спасался; все непрерывно смотрели в сгустившиеся сумерки, в которых катилась черная лавина.

Это великое молчание, полное глухого топота, пронзил крик матери. Она схватила ребенка, единственное оставшееся дитя, и, зажав его у груди, кинулась навстречу нарастающей в толпе лавине.

— Сме-ерть!.. сме-ерть!.. сме-ерть идет!..

Как зараза, это полетело, охватывая десятки тысяч людей:

— Сме-ерть!.. сме-ерть!..

Все, сколько их тут ни было, схватив, что попалось под руку, — кто палку, кто охапку сена, кто дугу, кто кафтан, хворостину, раненые — свои костыли, — все в исступлении ужаса, мотая этим в воздухе, бросились навстречу своей смерти.

— Сме-ерть!.. сме-ерть!..

Ребятишки бежали, держась за подолы матерей, и тоненько кричали:

— Смелть... сме-елть!..

Скакавшие казаки, сжимая не знающие пощады, поблескивавшие шашки, во мгле сгустившейся ночи различили бесчисленно колеблющиеся ряды пехоты, колоссальным океаном надвигающиеся на них, бесчисленно поднятые винтовки, черно колышущиеся знамена и нескончаемо перекатывающийся звериный рев: сме-ерть!..

Совершенно непроизвольно, без команды, как струны, натянулись поводья, лошади со всего скоку, крутя головами и садясь на крупы, остановились. Казаки замолчали, привстав на стремена, зорко всматривались в черно накатывавшиеся ряды. Они знали повадку этих дьяволов — без выстрела сходиться грудь с грудью, а потом начинается сатанинская штыковая работа. Так было с появления их с гор и кончая ночными атаками, когда сатаны молча появлялись в о́копах, — много казаков полегло в родной степи.

А из-за повозок, из-за бесчисленных костров, где казаки думали встретить беспомощные толпы безоружных стариков, женщин и отсюда, с тыла, пожаром зажечь панику во всех частях врага, — все выливались новые и новые воинские массы, и страшно переполнял потемневшую ночь грозный рев:

— Смерть!!

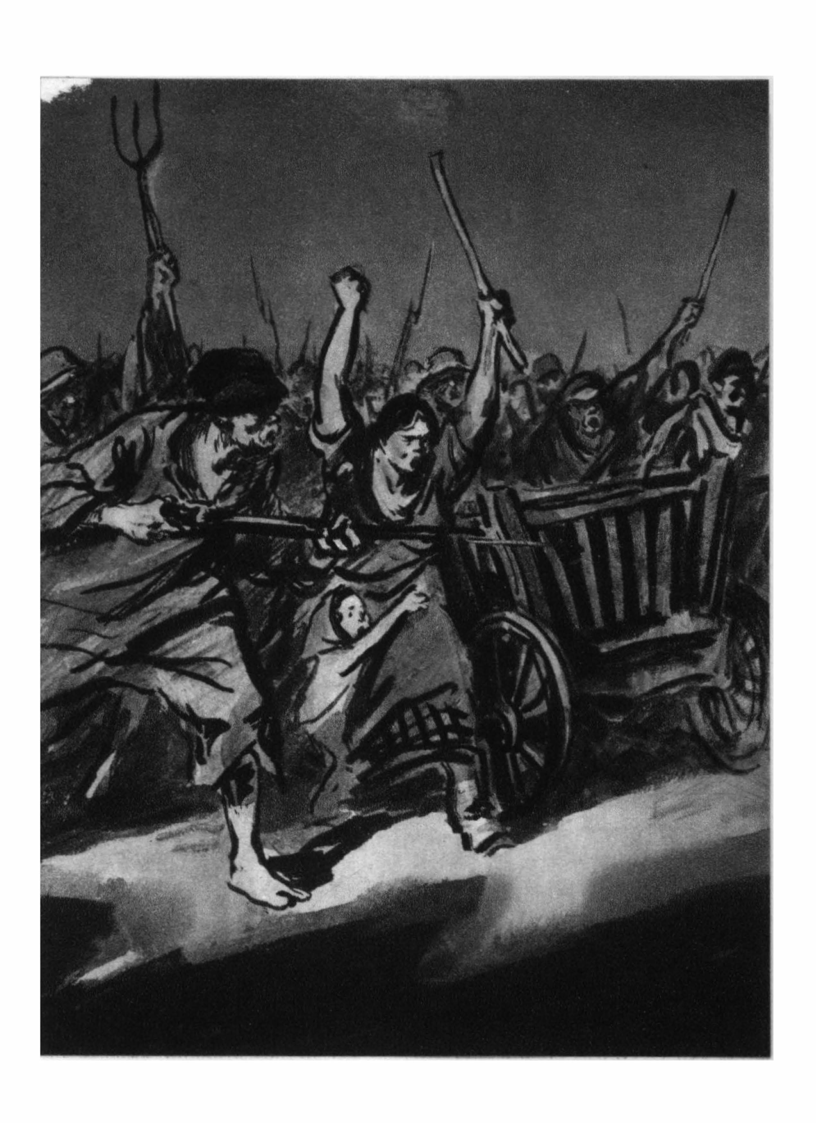
Когда увидали, что не было этому ни конца, ни края, казаки повернули, вытянули лошадей нагайками, и затрещали в лесу кусты и деревья.

Передние ряды бегущих женщин, детей, раненых, стариков с смертным по́том на лице остановились: перед ними немо чернел пустой лес.

XXXVI

Четвертый день гремят орудия, а лазутчики донесли — подошел от Майкопа к неприятелю новый генерал с конницей, пехотой и артиллерией. На совещании решено в эту ночь пробиваться и уходить дальше, не дожидаясь задних колонн.

Кожух отдает приказ: к вечеру постепенно прекратить ружейную стрельбу, чтоб успокоить неприятеля. Из орудий произвести тщательную пристрелку по окопам неприятеля, закрепить наводку и совершенно приостановить стрельбу на ночь. Полки цепями подвести в темноте возможно ближе к высотам, на



которых окопы неприятеля, но так, чтоб не встревожить, залечь. Все передвижения частей закончить к часу тридцати минутам ночи; в час сорок пять минут из всех наведенных орудий выпустить беглым огнем по десять снарядов. С последним снарядом в два часа ночи общая атака, полкам ворваться в окопы. Кавалерийскому полку быть в резерве для поддержки частей и преследования противника.



Пришли черные, низкие, огромные тучи и легли неподвижно над степью. Странно стихли орудия с обеих сторон: смолкли винтовки, и стало слышно — шумит река.

Кожух прислушался к этому шуму, — скверно. Ни одного выстрела, а прошлые дни и ночи орудийный и ружейный огонь не смолкал. Не собирается ли неприятель сделать то, что он, — тогда встретятся две атаки, будет упущен момент неожиданности, и они разобьются одна о другую.

— Товарищ Кожух...

В избу вошел адъютант, за ним два солдата с винтовками, а между ними безоружный бледный низенький солдатик.

— Что такое?

— От неприятеля. От генерала Покровского письмо.

Кожух остро влез крохотно сощуренными глазами в солдатика, а он, облегченно вздохнув, полез за пазуху и стал искать.

— Так что взятый я в плен. Наши отступают, ну, мы, семь человек, попали в плен. Энтих умучили...

Он на минуту замолчал; слышно — шумит река, и за окнами темь.

— Во, письмо. Генерал Покровский... дюже уж матюкал мене... — И застенчиво добавил: — И вас, товарищ, матюкал. Вот, говорит, так его растак, отдай ему.

Играющие искорки Кожуха хитро, торопливо и довольно бегали по собственноручным строчкам генерала Покровского.

> «...Ты, мерзавец, мать твою... опозорил всех офицеров русской армии и флота тем, что решился вступить в ряды большевиков, воров и босяков; имей в виду, бандит, что тебе и твоим босякам пришел конец: ты дальше не уйдешь, потому что окружен моими войсками и войсками генерала Геймана. Мы тебя, мерзавец, взяли в цепкие руки и ни в коем случае не выпустим. Если хочешь пощады, т. е. за свой поступок отделаться только арестантскими ротами, тогда я приказываю тебе исполнить мой приказ следующего содержания: сегодня же сложить все оружие на ст. Белореченской, а банду, разоруженную, отвести на расстояние 5—4 верст западнее станции; когда это будет выполнено, немедленно сообщи мне, на 4-ю железнодорожную будку».

Кожух посмотрел на часы и на темь, стоявшую в окнах. Час десять минут. «Так вот почему прекратили огонь казаки: генерал ждет ответа». То и дело приходили с донесениями от командиров — все части благополучно подошли вплотную к позиции противника и залегли.

«Добре... добре...» — говорил про себя Кожух и молча, спокойно, каменно смотрел на них, сощурившись.

В темноте за окном в шум реки ворвался торопливый лошадиный скок. У Кожуха екнуло сердце: «Опять что-нибудь... четверть часа осталось...»

Слышно, соскочил с фыркавшей лошади.

— Товарищ Кожух, — говорил, с усилием переводя дыхание, кубанец, стирая пот с лица, — вторая колонна подходит!..

Неестественно ослепительным светом загорелась и ночь, и позиции неприятеля, и генерал Покровский, и его письмо, и далекая Турция, где его пулемет косил тысячи людей, а он, Кожух, среди тысячи смертей уцелел, уцелел, чтобы вывести, спасти не только своих, но и тысячи беспомощно следующих сзади и обреченных казакам.

Две лошади, казавшиеся вороными, неслись среди ночи, ничего не разбирая. Черные ряды каких-то войск входили в станицу.

Кожух спрыгнул и вошел в ярко освещенную избу богатого казака.

У стола, стоя во весь богатырский рост, не нагибаясь, прихлебывал из стакана крепкий чай Смолокуров: черная борода красиво оттенялась на свежем матросском костюме.

— Здорово, братушка, — сказал он бархатно-густым, круглым басом, глядя сверху вниз, вовсе не желая этим обидеть Кожуха. — Хочешь чаю?

Кожух сказал:

— Через десять минут у меня атака. Части залегли под самыми окопами. Орудия наведены. Подведи вторую колонну к обоим флангам — и победа обеспечена.

— Не дам.

Кожух сомкнул челюсти и выдавил:

— Почему?

— Да потому, что не пришли, — добродушно и весело сказал Смолокуров и насмешливо посмотрел сверху на низкого, в отрепьях, человека.

— Вторая колонна входит в станицу, я сам сейчас видел.

— Не дам.

— Почему?

— Почему, почему! Започемукал, — густым красивым басом сказал тот. — Потому что устали, надо отдохнуть людям. Только родился, не понимаешь?

У Кожуха, как сжатая пружина, упруго вытеснило все ощущения: «Если разобью, так один...»

И сказал спокойно:

— Ну, хоть введи на станцию резерв, а я сниму свой резерв и усилю атакующие части.

— Не дам. Слово мое свято, сам знаешь.

Он прошелся из угла в угол, и на всей громадной фигуре и на добродушном пред этим лице легло выражение бычьего упорства, — теперь его хоть оглоблей расшибай. Кожух это понимал и сказал адъютанту:

— Пойдемте.

— Одну минутку,— поднялся начальник штаба и, подойдя к Смолокурову, сказал в одно и то же время мягко и веско:— Еремей Алексеич, на станцию-то можно послать, ведь в резерве будут.

А за этим стояло: «Кожуха разобьют, нас вырежут».

— Ну, что ж... да ведь я-то... собственно, ничего не имею... что ж, бери, какие части подошли.

Смолокурова ничем нельзя было сдвинуть, если он на чем-нибудь уперся. Но перед маленьким нажимом со стороны, с которой не ожидал, сразу растерянно сдавался.

Лицо с черной бородой добродушно отмякло. Он хлопнул огромной лапой по плечу приземистого человека:

— Ну, что, братуха, как дела, а? Мы, брат, морское волчье, там мы можем, — самого чорта наизнанку вывернем, а на сухопутьи, как свинья в апельсинах.

И захохотал, показывая ослепительные зубы под черными усами.

— Хочешь чаю?

— Товарищ Кожух, — дружески сказал начальник штаба,— сейчас напишу приказ, и колонна будет двинута на станцию вам в резерв.

А за этим стояло: «Что, брат, как ни вертелся, а без нашей помощи не обошлось...»

Кожух вышел к лошадям и в темноте сказал адъютанту:

— Останьтесь. Вместе с колонной дойдете на станцию и тогда доложите мне. Тоже недорого возьмут и сбрехать.

Солдаты лежали, прижимаясь к жесткой земле, длинными цепями, а их придавливала густая и низкая ночь. Тысячи по-звериному острых глаз наполняли тьму, но в казачьих окопах неподвижно и немо. Шумела река.

У солдат не было часов, но у каждого все туже сворачивалась упругость ожидания. Ночь стояла тяжелая, неподвижная, но каждый чувствовал, как медленно и неуклонно наползает два часа. В непрерывно бегущем шуме воды текло время.

И хотя все этого именно ждали, совершенно неожиданно вдруг раскололась ночь, и в расколе огненно замигали багровые клубы туч. Тридцать орудий горласто заревели без отдыха. А невидимые в ночи казачьи окопы огненно обозначались прерывисто рвущимся ожерельем ослепительных шрапнельных разрывов, которые повторным треском тоже обозначали невидимо извилистую линию, где умирали люди.

«Ну, будет... довольно!..» — мучительно думали казаки, влипнув в сухие стенки окопов, каждую секунду ожидая, что перестанут мигать багровые края черных туч, сомкнется расколотая ночь, можно будет передохнуть от этого утробно-потрясающего грохота. Но все то же багровое мигание, тот же тяжко отдающийся в земле, в груди, в мозгу рев, так же то там, то там стоны корчащихся людей.

И так же внезапно, как разомкнулась, темнота сомкнулась, погасив мгновенно наступившей тишиной и багрово мерцающие облака и нечеловеческий горластый рев орудий. На окопах вырос черный частокол фигур, и вдоль покатился другой, уже живой звериный рев. Казаки было шатнулись из окопов — вовсе не хотелось иметь дело с нечистой силой, и опять поздно: окопы стали заваливаться мертвыми. Тогда мужественно обернулись лицом к лицу и стали резаться.

Да, дьяволова сила: пятнадцать верст гнали, и пятнадцать верст пробежали в полтора часа.

Генерал Покровский собрал остатки казачьих сотен, пластунских, офицерских батальонов и повел обессиленных и ничего не понимающих на Екатеринодар, совершенно очистив босякам дорогу.

XXXVII

Напрягая все силы, глухо отбивая землю, размашистым шагом тесно идут опаленные порохом ряды в тряпье, с густо занесенными пылью, насунутыми бровями. А под бровями остро светятся точечки крохотных зрачков, не отрываются от знойного трепещущего края пустынной степи.

Тяжело громыхают спешащие орудия. В клубах пыли нетерпеливо мотают головами кони... Не отрываются от далекой синеющей черты артиллеристы.

В огромном, не теряющем ни одной минуты гуле бесконечно тянутся обозы. Идут у чужих повозок, торопливо вспыливая босыми ногами дорожную пыль, одинокие матери. На почернелых лицах блестят сухим блеском навеки невыплаканные глаза и не отрываются от той же далекой степной синевы.

Захваченные общей торопливостью, тянутся раненые. Кто прихрамывает на грязно обмотанную ногу. Кто, приподымая плечи, широко закидывает костыли. Кто изнеможенно держится

за край повозки костлявыми руками, — но все одинаково не отрываются от синеющей дали.

Десятки тысяч воспаленных глаз напряженно глядят вперед: там — счастье, там — конец мукам, усталости.

Палит родное кубанское солнце.

Не слышно ни песен, ни голосов, ни граммофона. И все это: и бесконечный скрип в облаках торопливо подымающейся пыли, и глухие звуки копыт, и густые шаги тяжелых рядов, и тревожные полчища мух — все это на десятки верст течет быстрым потоком к заманчиво синеющей таинственной дали. Вот-вот откроется она, и сердце радостно ахнет: наши!

Но сколько ни идут, сколько ни проходят станиц, хуторов, поселений, аулов, — все одно и то же: синяя даль отступает дальше и дальше, такая же таинственная, такая же недоступная. Сколько ни проходят, везде слышат одно и то же:

— Были, да ушли. Еще позавчера были, да заспешили, засуетились, поднялись все и ушли.

Да, были. Вот коновязи; везде натрушено сено; везде конский навоз, а теперь — пусто.

Вот стояла артиллерия, седой пепел потухших костров, и тяжелые следы артиллерийских колес за станицей сворачивают на большак.

Старые пирамидальные тополя при дороге глубоко белеют ранами содранной коры — обозы цепляли осями.

Все, все говорит за то, что были недавно, были недавно те, ради кого шли под шрапнелями немецкого броненосца, бились с грузинами, ради кого в ущельях оставляли детей, бешено дрались с казаками, — но неотступно, недостижимо уходит синяя даль. Попрежнему спешные звуки копыт, торопливый скрип обоза, торопливо нагоняющие тучи мух, несмолкающий, бесконечный гул шагов, и пыль, едва поспевая, клубится над потоками десятков тысяч, и попрежнему неумирающая надежда в десятках тысяч глаз, прикованных к краю степи.

Кожух, исхудалый — кожа обуглилась, — угрюмо едет в тарантасе и, как все, день и ночь не отрывается тоненько сощуренными серыми глазками от далекой облегающей черты. И для него она таинственно и непонятно не размыкается. Крепко сжаты челюсти.

Так уходят назад станица за станицей, хутор за хутором, день за днем, изнемогая.

Казачки встречают, низко кланяясь, и в ласково затаенных глазах — ненависть. А провожая, с удивлением смотрят вслед: никого не убили, не ограбили, а ведь ненавистные звери.

На ночлегах к Кожуху являются с докладом: все то же — впереди казачьи части без выстрела расступаются, давая дорогу. Ни днем, ни ночью ни одного нападения на колонны. А сзади, не трогая арьергарда, опять смыкаются.

— Добре!.. обожглись... — говорит Кожух, и играют желваки.

Отдает приказание:

— Разошлите конных по всем обозам, по всем частям, щоб ни одной задержки. Не давать останавливаться. Иттить и иттить! На ночлег не больше трех часов!..

И опять, напрягаясь, скрипят обозы, натягивают веревочные постромки измученные лошади, с тяжелой торопливостью громыхают орудия. И в знойную полуденную пыль, и в засеянную звездною россыпью ночную темноту, и в раннюю, еще не проснувшуюся зорьку тяжелый незамирающий гул тянется по кубанским степям.

Кожуху докладывают:

— Лошади падают, в частях отсталые.

А он, сцепив, цедит сквозь зубы:

— Бросать повозки. Тяжести перекладывать на другие. Следить за отсталыми, подбирать. Прибавить ходу, иттить и иттить!

Опять десятки тысяч глаз не отрываются от далекой черты, и днем и ночью облегающей жестко желтеющую после снятых

хлебов степь. И попрежнему по станицам, по хуторам, пряча ненависть, говорят ласково казачки:

— Были, да ушли, — вчера были.

Глядят с тоской — да, все то же: похолоделые костры, натрушенное сено, навоз.

Вдруг по всем обозам, по всем частям, среди женщин, среди детей поползло:

— Взрывают мосты... уходят и взрывают после себя мосты...

И баба Горпина, с остановившимся в глазах ужасом, шепчет спекшимися губами:

— Мосты рушать. Уходють и мосты по себе рушать.

И солдаты, держа в окостенелых руках винтовки, глухо говорят:

— Мосты рвуть... уходють вид нас, рвуть мосты...

И когда голова колонны подходит к речке, ручью, обрыву или топкому месту — все видят: зияют разрушенные настилы; как почернелые зубы, торчат расщепленные сваи, — дорога обрывается, и веет безнадежностью.

А Кожух с надвинутым на глаза черепом приказывает:

— Восстанавливать мосты, наводить переправы. Составить особую команду, которые половчей с топором. Пускать вперед на конях с авангардом. Забирать у населения бревна, доски, брусья, свозить в голову!

Застучали топоры, полетела, сверкая на солнце, белая щепа. И по качающемуся, скрипучему, на живую нитку, настилу снова потекли тысячные толпы, бесконечные обозы, грузная артиллерия, и осторожно храпят кони, испуганно косясь по сторонам на воду.

Без конца льется человеческий поток, и попрежнему все глаза туда, где все та же недосягаемая черта отделяет степь и небо.

Кожух собирает командный состав и спокойно говорит, играя желваками:

— Товарищи, от нас наши уходять з усией силы...

Мрачно ему в ответ:

— Мы ничего не понимаем.

— Уходять, рвуть мосты. Долго так мы не сдюжаем, лошади падають десятками. Люди выбиваются, отстають, а отсталых козаки всех порубають. Пока мы им учебу дали, козаки боятся, расступаются, все их части генералы отводять с нашей дороги. Но все одно мы в железном кольце, и, если так долго буде, оно нас задушить,— патронов небогато, снарядов мало. Треба вырваться.

Он поглядел острыми, крохотно суженными глазками. Все молчали.

Тогда Кожух сказал раздельно, пропуская сквозь зубы слова:

— Треба прорваться. Если послать кавалерийскую часть — кони у нас плохие, не выдержуть гоньбы, козаки всех порубають. Тогда козаки осмелеють и навалятся на нас со всех сторон. Треба инако прорваться и дать знать.

Опять молчание. Кожух сказал:

— Кто охотник?

Поднялся молодой.

— Товарищ Селиванов, возьмите двоих солдат, берите машину — и гайда! Прорывайтесь во что бы то ни стало. Скажите им там: мы это. Чего ж они уходят? На гибель нас, что ли?

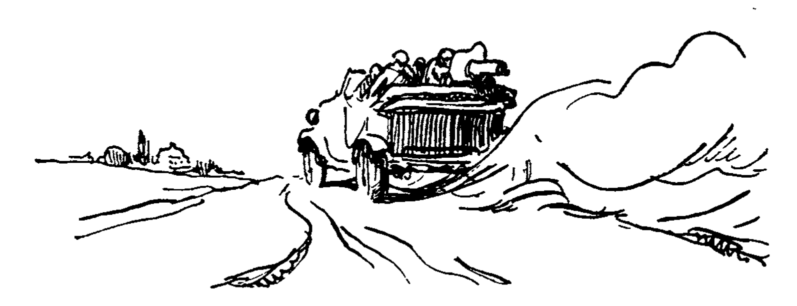
Через час у штабной хаты, залитой косыми лучами, стоял автомобиль. Два пулемета смотрели с него: один вперед, другой назад. Шофер в замасленной гимнастерке, как все шоферы, сосредоточенный, замкнутый, не выпуская из зубов папиросы, возился около машины, заканчивая проверку; Селиванов и два солдата — с лицами молодыми и беззаботными, а в глазах далеко запрятанное напряжение.

Запорскала, вынеслась и пошла чертить воздух, запылила, засверлила, все делаясь меньше, сузилась в точку и пропала.

А бесконечные толпы, бесконечные обозы, бесконечные лошади текли, ничего не зная об автомобиле, текли безостановочно и мрачно, то с надеждой, то с отчаянием вглядываясь в далекую синеющую даль.

XXXVIII

Гудит несущаяся навстречу буря. Косо падают по сторонам, мгновенно улетая, хаты, придорожные тополя, плетни, дальние церкви. По улицам, в степи, в станицах, по дороге люди, лошади, скот не успевают выразить испуга, а уже никого нет, и только бешено крутится по дороге пыль, да сорванный с деревьев лист, да подхваченная солома.



Казàчки качают головами:

— Должно, сбесился. Чей такой?

Казачьи разъезды, патрули, части пропускают бешено несущийся автомобиль, —первый момент принимают за своего: кто же полезет в самую гущу их! Иногда спохватятся — выстрел, другой, третий, да где там! Лишь посверлит воздух вдали, растает — и все.

Так, в гуле и свисте уносится верста за верстой, десяток за десятком. Если лопнет шина, поломка — пропали. Напряженно смотрят вперед и назад два пулемета, и напряженно ловят несущуюся навстречу дорогу четыре пары глаз.

В грохоте, сливая безумное дыхание в тонкий вой, неслась и неслась машина. Было жутко, когда подлетали к реке, а там расщепленными зубами глядели сваи. Тогда бросались в сторону, делали громадный крюк и где-нибудь натыкались на сколоченную населением из бревен временную переправу.

К вечеру вдали забелелась колокольня большой станицы. Быстро разрастались сады, тополя, бежали навстречу белые хаты.

Солдатик вдруг завизжал, обернув неузнаваемое лицо:

— На-аши!!

— Где?.. где?! что ты!!

Но даже рев несущейся машины не мог сорвать, заглушить голос.

— Наши! наши!! вон!

Селиванов злобно, чтоб не поддаться разочарованию ошибки, приподнялся и:

— Уррра-а-а!!

Навстречу ехал большой разъезд, — на шапках, как маки, алели звезды.

В ту же секунду над самым ухом знакомо, тоненько, певуче: дзи-и-и... ти-и... ти-и... И еще, и еще, как комариное удаляющееся пение. А от зеленых садов, из-за плетней, из-за хат прилетели звуки винтовочных выстрелов.

У Селиванова екнуло: «Свои... от своих...» И он мальчишески-тонко закричал сорвавшимся голосом, отчаянно мотая фуражкой:

— Свои!.. свои!!

Чудак... Как будто в этой буре несущейся машины что-нибудь можно услышать. Он и сам это понял, вцепился в плечо шофера:

— Стой, стой!.. задержись!..

Солдатики попрятали головы за пулеметы. Шофер со страшно исхудавшим в эти несколько секунд лицом затормозил вдруг

окутавшуюся дымом и пылью машину, и всех с размаху ссунуло вперед, а в обшивку впились две цокнувшие пули.

— Свои!.. свои!.. — орали четыре человеческие глотки.

Выстрелы продолжались. Разъезд, срывая из-за плеч карабины, скакал, сбив лошадей в сторону от дороги, чтобы дать свободу обстрела из садов, и стреляя на скаку.

— Убьют... — сказал окостенелыми губами шофер, отшатываясь от руля, и совсем остановил машину.

Подлетели карьером. С десяток дул зачернелось в упор. Несколько кавалеристов с искаженными страхом лицами смахнулись с лошадей, сверхъестественно ругаясь:

— Долой с пулеметов!.. руки вверх!.. вылезай!..

Другие, скидываясь с лошадей, кричали с побледневшими лицами:

— Руби их! чаво смотришь... ахвицерье, туды и растуды!

Режуще сверкнули выдернутые из ножен сабли.

«Убьют...»

Селиванов, оба солдата, шофер моментально высыпались из машины. Но как только очутились среди взволнованных лошадиных морд, среди занесенных сабель, прицелившихся винтовок, разом отлегло — отделились от приводивших в неистовство пулеметов.

И тогда, в свою очередь, посыпали отборной руганью:

— Очумели... своих... в заднице у вас глаза. В документы не глянули, уложили б, потом не воротишь... расперетак вас так!..

Кавалеристы остыли.

— Да кто такие?

— Кто-о!.. Сначала спроси, а потом стреляй. Веди в штаб.

— Ды как же, — виновато заговорили те, садясь на лошадей, — на прошлой неделе так-то подлетел бронированный автомобиль, ды давай поливать. Такой паники наделал! Садитесь.

Сели опять в машину. К ним влезли двое кавалеристов, остальные осторожно окружили с карабинами в руках.

— Товарищи, вы только не пущайте дюже машину в ход, а то не поспеем, кони мореные.

Добежали до садов, завернули по улицам. Встречавшиеся солдаты останавливались, отборно ругаясь:

— Перебейте, так их растак! Куда волокете?

Косо тянулись неостывшие вечерние тени. Где-то орали пьяные песни. По дороге из-за деревьев зияли высаженными окнами разбитые казачьи хаты. Павшая неубранная лошадь распространяла зловоние. Всюду по улицам ненужно наваленное, раскиданное сено. За плетнями оголенные, обезображенные, с переломанными ветвями фруктовые деревья. Сколько ни ехали по станице — на улице, на дворах ни одной курицы, ни одной свиньи.

Остановились у штаба — большой поповский дом. В густой крапиве около крыльца храпели двое пьяных. На площади возле орудий солдаты играли в трынку.

Гурьбой ввалились к начальнику отряда.

Селиванов, волнуясь от счастья, от пережитого, рассказал о походе, о боях с грузинами, с казаками, не успевая всего рассказать, что просилось, перескакивая с одного на другое:

— ...Матери... дети в оврагах... повозки по ущельям... патроны до одного... голыми руками...

И вдруг осекся: начальник, забрав длинные усы и щетинистый подбородок в ладонь, сидел, сгорбившись, не прерывая и не спуская с него чужих глаз.

Командный состав, все молодые, загорелые, кто стоял, кто сидел, без улыбки, с каменными лицами, чуждо слушали.

Селиванов, чувствуя, как наливается шея, затылок, уши, резко оборвал и сказал вдруг охрипшим голосом:

— Вот документы, — и сунул бумаги.

Тот, не глядя, отодвинул к помощнику, который нехотя и предрешенно стал рассматривать. Начальник раздельно сказал, не спуская глаз:

— У нас совершенно противоположные сведения.

— Позвольте, — все лицо и лоб Селиванова налились кровью, — так вы нас... вы нас принима...

— У нас совершенно иные сведения, —спокойно и настойчиво сказал тот, все так же держа в щепоти длинные усы, подбородок, не давая себя перебить и не спуская глаз,— у нас точные сведения: вся армия, вышедшая с Таманского полуострова, погибла на Черноморском побережьи, вся перебита до единого человека.

В комнате стало тихо. В распахнутые окна из-за церкви доносились густая брань и пьяные солдатские голоса.

«А у них — разложение...» — со странным удовлетворением подумал Селиванов.

— Так позвольте... вам мало документов. Что же это, наконец, такое: с неимоверными усилиями, после нечеловеческой борьбы прорваться к своим — и тут...

— Никита, — сказал опять спокойно начальник, выпустил из рук подбородок и поднялся, расправляя тело, длинный, с длинными, обвисшими по сторонам усами.

— Что?

— Найди приказ.

Помощник порылся в портфеле, достал бумагу, протянул. Начальник положил на стол и, не нагибаясь, как с колокольни, стал читать. Тем, что стал читать с такой высоты, как бы небрежно подчеркивал предрешенность своего и всех присутствующих мнения.

ПРИКАЗ КОМАНДУЮЩЕГО № 73

Перехвачена радиотелеграмма генерала Покровского к генералу Деникину. В ней сообщается, что с моря, с туапсинского направления идет неисчислимая орда босяков. Эта дикая орда состоит из русских пленных, вернувшихся из Германии, и моряков. Они превосходно вооружены, множество орудий, припасов и везут с собою массу награбленных драгоценностей. Эти бронированные свиньи на своем пути всех бьют и все сметают: лучшие казачьи и офицерские части, кадет, меньшевиков, большевиков.

Длинный прикрыл, опираясь о стол, ладонью бумагу, пристально посмотрел на Селиванова, повторяя раздельно:

— И боль-ше-ви-ков!

Потом принял ладонь и, все так же стоя, стал читать:

> Ввиду этого приказываю: продолжать безостановочное отступление. Рвать за собою мосты; уничтожать все средства переправы; лодки перегонять на нашу сторону и сжигать без остатка. За порядок отступления отвечают начальники частей.

Он опять пристально посмотрел в лицо Селиванову и, не дав ему раскрыть рта, сказал:

— Вот что, товарищ. Я ни в чем не хочу вас подозревать, но войдите же и в наше положение: мы видимся... в первый раз, а сведения складываются, вы сами видите... Не имеем же мы права... ведь нам вверены массы, и мы были бы преступниками...

— Да ведь там ждут! — с отчаянием вскрикнул Селиванов.

— Я понимаю, понимаю, не волнуйтесь. Вот что: пойдемте перекусим — чай, голодны, и ваши ребята пусть...

«Порознь допросить хочет...» — подумал Селиванов и вдруг почувствовал: неодолимо захотелось спать.

За обедом красивая степенная казачка поставила на голый стол горячую миску с подернутыми жиром щами, от которых и пар не шел, и низко поклонилась:

— Кушайте, родимые.

— Ну, ты, ведьма, пожри-ка сначала сама.

— Ды что вы, батюшка!

— Но, но!

Она перекрестилась, взяла ложку, черпнула вдруг задымившиеся щи и, дуя, стала осторожно схлебывать.

— Жри, больше!.. Какую моду взяли: несколько человек отравили наших. Зверье! Подать вина...

После обеда условились: Селиванов на машине едет назад, а с ним для проверки отправляется эскадрон.

Сдержанно бежит машина, отходят в обратном порядке знакомые станицы, хутора. Сидит Селиванов с двумя кавалери-

стами, — у них напряженные лица и наготове револьверы. А кругом спереди, сзади, с боков, то дружно в один раз, то в разнобой грузно подымаются и падают солдатские зады на широкие седла, и бегут под ними, мелькая копытами, кавалерийские лошади.

Сдержанно порскает машина, не спеша бежит с нею подымаемая пыль.

У сидящих в машине кавалеристов понемногу напряженность отпускает лица, и они начинают доверчиво рассказывать Селиванову под сдержанный гул неторопливо бегущей машины горестную повесть. Все ослабло, разболталось, боевые приказы не выполняют, бегут пред небольшими кучками казаков; из разлагающихся частей пачками разбегаются куда глаза глядят.

Селиванов никнет головой.

«Если наскочим на казаков, все пропало...»

XXXIX

Ни одной звезды, и от этого мягкий бархат все глотает, — не видно ни плетней, ни улиц, ни пирамидальных тополей, ни хат, ни садов. Булавочными уколами рассыпаны огоньки.

В мягкой темной громаде чуется невидимо раскинувшаяся живая громада. Не спят. То загремит задетое в темноте ведро, то загрызутся, затопают разодравшиеся кони и — «тпру-у, сто-ой, дьяволы!..» То материнский голос мерно, однотонно качает двумя нотами: а-ы-ы!.. а-ы-ы! а-ы-ы!..

Далекий выстрел, но знаешь — свой, дружеский. Разрастается гомон, голоса, не то ссора, не то дружеская встреча; уляжется — опять только темь.

— По-сле-едний но-неш-ни-ий... — сонно, с усталой улыбкой.

Отчего не спится?

Далекое, не то под окном, шуршанье песка, хруст колес.

— Эй, та ты ж куды? Наши вон иде стали.

А никого не видно — черный бархат.

Странно, разве не устали? Разве уж не всматриваются день и ночь в далекую черту неотрывающиеся глаза?

Как будто и этот сентябрьский бархат, и невидимые плетни, и запах кизяка — как будто свое, домашнее, родное, кровное, так долгожданное.

Завтра за станицей братская встреча с войсками главных сил. Оттого ночь полна текучего движения, звука копыт, голосов, шороха, хруста колес и улыбки, сонно засыпающей улыбки.

Полоса света из приотворенной двери узко ложится по земле, ломается через плетень, далеко убегает по вытоптанному огороду.

А в казачьей хате кипит самовар. Белеют стены. Расставлена посуда. Белый хлеб. Чистая скатерть.

Кожух без пояса на лавке; волосатая грудь видна. Посунулся плечами, повисли руки, опустилась голова. Так хозяин вернется с поля, — целый день шагал, отваливая отбеленным лемехом черные жирные пласты, и теперь удовлетворенно гудят руки, ноги, и женщина готовит ужин, и на столе еда, и со стенки, слегка коптя, светит жестяная лампочка, — по-хозяйски устал, трудовой усталостью устал.

Брат возле, тоже без оружия. Беззаботно разулся и сосредоточенно рассматривает совершенно развалившийся сапог. Домовитым движением жена Кожуха приподнимает крышку над самоваром, — вырывается бунтующий пар; вынимает тяжелое, горячо дымящееся полотенце, выбирает яйца, разложила на тарелке, и они кругло белеют. В углу темнеют иконы. На хозяйской половине тихо.

— Ну, садитесь!

И, точно резануло, все трое повернули головы: в полосе света знакомо мелькнули одна, другая, третья круглые шапочки с ленточками. Матершинная ругань. Грохнули приклады.

Алексей, не теряя ни секунды (эх, револьвер куды!..):

— За мной!!

Как буйвол, ринулся. Приклад пришелся в плечо. Покачнулся, но удержался на ногах, и под его литым кулаком хрустнула переносица, и со стоном и остервенелой бранью рухнуло чье-то тело.

Алексей перескочил.

— За мной!!

Вырвался из света, разом окунулся в тьму и понесся саженными скачками по грядам, ломая высокие стволы подсолнечника.

По ринувшемуся за ним Кожуху без промаха пришлись приклады. Он свалился за плетнем, а кругом заветренные морские голоса:

— Ага!.. вот он, лупи!..

Непогасимым криком стояло сзади остро пронизывающее:

— Помогите!

Кожух удесятерил силы, избиваемый, выкатился из полосы света в темноту, вскочил и понесся за братом, на слух. А за самой спиной, наседая, катился тяжелый топот, и сквозь торопливо охриплое дыхание:

— Не стрелять, а то сбегутся... бей прикладами!.. Вот он, гони!..

Чернее темноты вырос забор. Затрещали доски. Алексей перемахнул. Упруго, как юноша, перемахнул Кожух, и оба разом свалились в невыразимую кашу криков, ударов, ругани, прикладов, штыков, — с той стороны ждали.

— Бей ахвицерье!.. подымай на штыки!..

— Ня трожь!.. ня трожь!..

— Попались, сволочи!.. Коли на месте!..

— Беспременно в штаб — там допросить... пятки поджарим...

— Бей зараз!..

— В штаб! В штаб!..

Голоса Кожуха и Алексея смыло бушующе-черным водоворотом, они сами себя не слышали в буйно ворочавшемся клубе.

С непадающим криком, шумом, говором, бранью повели, сгрудившись, толкаясь в тесноте; лязг, колыхание темных штыков, матерная ругань.

«Никак, выплыл?» — жадно стояло в голове Кожуха. Он не отрывался от света, который лился из окон большого двухэтажного дома училища — штаб.

Вошли в полосу света — все разинули рты и вытаращили глаза:

— Та це ж батько!!

Кожух спокойно, только желваки играли:

— Шо ж вы, сбесились?!

— Та мы... та як же ж воно!.. Та це ж матросня. Приходять, сказывають: двох ахвицерьев открыли, шпиены козацкие, Кожуха хочуть убить, треба их застукаты. Мы, кажуть, выгоним ахвицерьев, а вы караульте позадь забора. Як воны зачнуть сигать, вы им пид зад штыки, нэхай сядуть. А в штаб не треба водить, — там изменьщики есть, отпустють. А вы тихомолком, тай годи. Ну, мы поверилы, а темь...

Кожух спокойно:

— В приклады матросню.

Солдаты бешено ринулись в разные стороны, а из темноты спокойный голос:

— Разбежались. Чи дураки — будут ждать соби смерти.

— Пойдем чай пить, — сказал Кожух брату, вытирая с разбитого лица кровь. — Поставить караул!

— Слухаем.

XL

Кавказское солнце — даром, что запоздалое — горячо. Только степи прозрачны, только степи сини. Тонко блестит паутина. Тополя задумчиво стоят с редеющей листвой. Чуть тронулись желтизной сады. Белеет колокольня.



А за садом в степи бесчисленное людское море, как тогда, при начале похода, такое же необозримое людское море. Но что-то новое покрывает его. Те же бесчисленные повозки беженцев, но отчего же на лицах, как отражение, как живой отблеск, печать непотухающей уверенности?

Те же бесчисленные отрепанные, рваные, голые, босые солдатские фигуры, — но отчего, как по нитке, молчаливо вытяну-

лись в бесконечные шеренги, и выкованы из почернелого железа исхудалые лица, и стройно, как музыка, темнеют штыки?

И отчего лицом к этим шеренгам стоят такие же бесконечные ряды одетых и обутых солдатских фигур, но врозь, куда попало, покачнулись штыки, и оттиснулись на лицах растерянность и жадное ожидание?

Как тогда, необозримая громада пыли, но теперь она осела осенней отяжелелостью, и отчетливо прозрачна степь, и отчетливо видна каждая черта на лицах.

Тогда среди безграничного взбаламученного людского моря зеленел пустой курган, и чернели на нем ветряки; а теперь среди людского моря пустая полянка, и на ней темнеет повозка.

Только тогда буйное разливалось по степи человеческое море, а теперь затаилось и молча стояло в железных берегах.

Ждали. И молчаливая, без звуков, без слов, торжественная музыка разливалась над необозримой толпой в синем небе, в синей степи, в золотом зное.

Показалась небольшая толпа людей. И те, что стояли в шеренгах с железными лицами, узнали в этой подходившей кучке своих командиров, таких же исхудалых, почернелых, как и они сами. И те, что стояли рядами против них, узнали своих командиров, одетых, с здоровыми обветренными лицами, как и у них самих.

И шел среди первых Кожух, небольшого роста, почернелый до самых костей, исхудалый до самых костей, оборванный, как босяк, и на ногах шмурыгали разбитые, с разинутыми почернелыми пальцами опорки. На голове замызганно обвисла рваными полями когда-то соломенная шляпа.

Они подошли и сгрудились около повозки. Кожух взобрался на повозку, стащил с головы ошметку соломы и оглядел долгим взглядом и железные шеренги своих, и бесчисленно терявшиеся в степи повозки, и множество печальных безлошадных беженн-

цев, и ряды главных сил. Было в них что-то расшатавшееся. И у него шевельнулось глубоко запрятанное, в чем и сам бы себе не признался, удовлетворение: «разлагаются...»

Все, сколько их тут ни было, все смотрели на него. Он сказал:

— Товарищи!..

Все знали, о чем здесь будут говорить, но мгновенная искра пронизала смотревших.

— Товарищи, пятьсот верст мы йшлы, голодные, холодные, разутые. Козаки до нас рвались, як скаженнии. Нэ було ни хлеба, ни провьянту, ни фуража. Мерли люди, валились под откосы, падали под вражьими пулями, нэ було патронов, голыми руками...

И, хоть знали это — сами все вынесли, и знали другие по тысячам их рассказов, — слова Кожуха блеснули неиспытанной новизной.

— ...дитэй оставляли в ущельях...

И над головами, над всем над громадным морем, пронеслось и впилось в сердце, впилось и задрожало:

— Ой, лишенько, диты наши!..

От края до края колыхнулось человеческое море:

— ...диты наши!.. диты наши!..

Он каменно смотрел на них, выждал и сказал:

— А сколько полягло наших под пулями в степях, в лесах, горах, поляглы навик вики!..

Все головы обнажились, и до самого края бесчисленно поплыло могильное молчание, и, как надгробная память, как могильные цветы, в этой тишине тихие женские рыдания.

Кожух постоял с опущенной головой, потом поднял, оглядел эти тысячи и поломал молчание:

— Так за що ж терпели тысячи, десятки тысяч людей цыи муки? за що?!

Он опять посмотрел на них и вдруг сказал неожиданное:

— За одно: за совитску власть, бо вона одна крестьянам, рабочим, нэма у них бильш ничого...

Тогда вырвался из груди неисчислимый вздох, стало нестерпимо, и скупо поползли одинокие слезы по железным лицам, медленно поползли по обветренным лицам встречавших, по стариковским лицам, и засияли слезами дивочьи очи...

— ...за крестьянскую и рабочую...



«Так вон оно щоǃ так вот за що мы билысь, падалы, мерлы, погибалы, терялы дитэй!»

Точно широко глаза разинулись, точно в первый раз услышали тайную тайну.

— Та дайте ж, людэ добрии, мени казаты, — кричала, горько сморкаясь, баба Горпина, продираясь к самой повозке, цапаясь за колеса, за грядку, — та дайте ж мени...

— Та постой, бабо Горпино, нэхай ж батько кончае, нэхай росказуе, а тоди ты!

— Та не трожьте мене, — отбивалась локтями старая и цепко лезла — никак ее не стянешь.

И закричала, расхристанная, с выбившимися седыми клочковатыми волосами, с сбившимся платком, закричала:

— Ратуйте, добрии людэ, ратуйте! Самовар у дома вкинулы. Як мени замуж выходить, мамо в приданое дала тай каже: береги его, як свет очей, а мы вкинулы. Та цур ёму, нэхай пропадае! нэхай живе наша власть, наша ридна, бо мы усю жисть горбы гнулы та радости не зналы. А сыны мои... сыны мои...

И захлюпала старая старыми слезами не то от неизбывного горя, не то от смутной, самой ей непонятно блеснувшей радости.

И опять по всему людскому морю взмыло тяжким и радостным вздохом и побежало до самых до степных до краев. А на повозку хмуро, молча лез горпинин старик. Ну, этого не стянешь, — здоровенный старина, насквозь проеденный дегтем, земляной чернотой, и руки, как копыта.

Вылез и удивился, что высоко, и сейчас же забыл это, и, обветренный, стоеросый, как немазаная телега, захрипел голос:

— Во!.. старый коняка, а добрый був возовик. Цыганы, сами знаете, наскрозь лошадей видють, скрозь ему лазили и у роти, и пид хвост, кажуть, дэсять годив, а ему два-ад-цать три! Смоляной зуб!..

Засмеялся старик, в первый раз засмеялся, собрал вокруг глаз множество морщинок-лучинок и хитро засмеялся детским, шаловливым, так не вязавшимся с его глыбисто-земляной фигурой смехом.

А баба Горпина потерянно хлопнула себя по бедрам.

— Боже ж мий милий. Бачьте, добрии людэ, чи сказився, чи що! Мовчав, мовчав, цилый вик мовчав; мовчки мене замуж узяв, мовчки любив, мовчки бив, а тут забалакав. Що таке буде? Чи с глузду зъихав, бодай ёго, чи що!..

Старик сразу согнал морщинки, насунул обвисшие брови, и опять на всю степь захрипела немазаная телега:

— Побилы коняку, сдох!.. Все потеряв, що на возу, пропало. Ногами шли. Шлею зризав и ту покинув; самовар у бабы и вся худоба дома пропала, а я, як перед истинным, — и заревел стоеросовым голосом: — не жа-ли-ю!.. нэхай, нэ жалко, нэхай!.. бо це наша, хрестьянская власть. Без нэи мы дохлятина, як та падаль пид тыном, воняемо... — и заплакал скупыми слезами.

Валом взмыло, бурей прошлось из конца в конец:

— Га-а-а!.. Це ж наша громада-а! наша ридна власть!.. Нэхай живе... бувай здорова, совитска власть!..

Из конца в конец.

«Так от воно, счастя?!!» — огненно обожгло в груди Кожуха, и челюсти дрогнули.

«Так от яке воно!.. — нестерпимо-радостно своей неожиданностью зажглось в железных шеренгах исхудалых, в тряпье, людей. — Так от за вищо мы голоднии, холоднии, замучении, нэ за шкуру тильки свою!..»

И матери с незаживающим сердцем, с невысыхающими слезами, — нет, не забыть им никогда голодно-оскаленных ущелий, никогда! Но и эти страшные места, страшная о них память претворялись в тихую печаль и тоже находили свое место в том торжественном и огромном, что беззвучно звучало над бескрайно раскинувшейся по степи человеческой громадой.

А те, что стояли одетые и сытые множеством рядов лицом к лицу с железными шеренгами исхудалых, голых людей, те чувствовали себя сиротами в этом не испытанном торжестве и, не стыдясь просившихся на глаза слез, поломали ряды и, все смывая, двинулись всесокрушающей лавиной к повозке, на которой стоял оборванный, полубосой, исхудалый Кожух. И покатилось до самых до степных до краев:

— Оте-ец наш!! Веди нас куды знаешь... и мы свои головы сложим!

Тысячи рук протянулись к нему, стащили его, тысячи рук подняли его над плечами, над головами и понесли. И дрогнула

степь на десятки верст, всколыхнутая бесчисленными человеческими голосами:

— Урра-а! урра-а! а-а-а... батькови Кожуху!..

Кожуха несли и там, где стояли стройные ряды; несли и там, где стояла артиллерия; пронесли и между лошадьми эскадронов, и всадники оборачивались на седлах и с восторженно изменившимися лицами, темнея открытыми ртами, без перерыва кричали.

Несли его среди беженцев, среди повозок, и матери протягивали к нему детей.

Принесли назад и бережно поставили опять на повозку. Кожух раскрыл рот, чтоб заговорить, и все ахнули, как будто увидели его в первый раз:

«Та у ёго глаза сыни!»

Нет, не закричали, потому что не умели назвать словами свои ощущения, а у него глаза действительно оказались голубые, ласковые и улыбались милой детской улыбкой, — не закричали так, а закричали:

— Уррра-а-а нашему батькови!.. Нэхай живе!.. Пидемо за им на край свита... Будемо биться за совитску власть. Будемо биться с панами, с генералами, с ахвицерьем...

А он ласково смотрел на них голубыми глазами, а в сердце выжигалось огненным клеймом:

«Нэма у мени ни отца, ни матери, ни жены, ни братьев, ни близких, ни родни, тильки одни эти, которых вывел я из смерти... Я, я вывел... А таких миллионы, и округ их шеи петля, и буду биться за их. Тут мой отец, дом, мать, жена, дети... Я, я спас от смерти тысячи, десятки тысяч людей... Я спас от смерти в страшном положении...»

Выжигалось огненно в сердце, а уста говорили:

— Товарищи!..

Но не успел сказать. Раздавая толпу солдат направо-налево, бурно рвалась матросская масса. Всюду круглились шапочки,

трепетали ленты. Могуче работая локтями, лилась матросская лавина все ближе и ближе к повозке.

Кожух спокойно глядел на них серыми с отблеском стали глазами, и лицо железное, и стиснуты челюсти.

Уже близко, уже тонкий слой расталкиваемых солдат только отделяет. Вот наводнили все кругом; всюду, куда ни глянешь, круглые шапочки, и ленты полощутся, и, как остров, темнеет повозка, а на ней — Кожух.

Здоровенный, плечистый матрос, весь увешанный ручными бомбами, двумя револьверами, патронташем, ухватился за повозку. Она накренилась, затрещала. Влез, стал рядом с Кожухом, снял круглую шапочку, махнул лентами, и хриповато-осипший голос — в котором и морской ветер, и соленый простор, и удаль, и пьянство, и беспутная жизнь — разнесся до самых краев:

— Товарищи!.. Вот мы, матросы, революционеры, каемся, виноваты пред Кожухом и пред вами. Чинили мы ему всякий вред, когда он спасал народ, просто сказать, пакостили ему, не помогали, критиковали, а теперь видим — неправильно поступали. От всех матросов, которые тут собрались, низко кланяемся товарищу Кожуху и говорим сердечно: виноваты, не серчай на нас.

Такими же просоленными морскими голосами гаркнула матросская братва:

— Виноваты, товарищ Кожух, виноваты, не серчай!

Сотни дюжих рук сволокли его и стали отчаянно кидать. Кожух высоко взлетал, падал, скрывался в руках, опять взлетал, — и степь, и небо, и люди шли колесом.

«Пропал,— всю требуху, сукины сыны, вывернут!»

А от края до края потрясающе гремело:

— Уррра-а-а-а нашему батькови!.. уррра-а-а-а!..

Когда опять поставили на повозку, Кожух слегка шатался, а глаза голубые сузились, улыбаются хитрой улыбкой.

«Ось, собаки брехливые, выкрутылись. А попадись в другом мисти, шкуру спустють...»

А громко сказал своим железным слегка проржавевшим голосом:

— Хто старое помяне, того по потылице.

— Го-го-го!.. хха-ха-ха!.. ура-а-а!..

Много ораторов дожидаются своей очереди. Каждый несет самое важное, самое главное, и если он не скажет, так все рухнет. А громада слушает. Слышат те, которые густо разлились вокруг повозки. Дальше долетают только отдельные обрывки, а по краям ничего не слышно, но все одинаково жадно, вытянув шею, наставив ухо, слушают. Бабы суют ребятишкам пустую грудь, либо торопливо покачиваются с ними, похлопывая, и тянут шеи, боком наставляя ухо.

И странно, хотя не слышат или хватают с пятого на десятое, но в конце концов схватывают главное.

— Паны сызнова заворушились, землю им отдай.

— Поцилуй мени у зад, и тоди нэ отдам.

— Слыхал, Панасюк: в России Красна Армия.

— Яка така?

— Та красна: и штани красны, и рубаха красна, и шапка красна, сзаду, спереду — скрозь красный, як рак вареный.

— Буде брехать.

— Та ей-бо! зараз аратор балакав.

— И я слыхав: солдатив там вже нэма, — вси красноармейцами прозываються.

— Мабудь, и нам красни штани выдадуть?

— И дуже, балакають, строго — дисциплина.

— Тай куды дущей, як у нас: як батько схотив всыпать пид шкуру, вси, як взнузданнии, стали ходить. Гля: як идуть в шеренге — аж як по нитке. А по станицам проходилы, никто вид нас не плакав, не стонав.

Перекидывались, хватая у ораторов обрывки, не умея вы-

сказать, но чувствуя, что отрезанные неизмеримыми степями, непроходимыми горами, дремучими лесами, они творили — пусть в неохватимо-меньшем размере, но то самое, что творили там, в России, в мировом, — творили здесь, голодные, голые, босые, без материальных средств, без какой бы то ни было помощи. Сами. Не понимали, но чувствовали и не умели это выразить.

До самой до синевы вечера, сменяя друг друга, говорили ораторы; по мере того как они рассказывали, у всех нарастало ощущение неохватимого счастья неразрывности с той громадой, которую они знают и не знают и которая зовется Советской Россией.

Неисчислимо блестят в темноте костры, так же неисчислимы над ними звезды.

Тихонько подымается озаренный дымок. Солдаты в лохмотьях, женщины в лохмотьях, старики, дети сидят кругом костров, сидят усталые.

Как на засеянном небе тает дымчатый след, так над всей громадой людей неощутимым утомлением замирает порыв острой радости. В этой мягкой темноте, в отсвете костров, в этом бесчисленном людском море погасает мягкая улыбка, — тихонько наплывает сон.

Костры гаснут. Тишина. Синяя ночь.

1924

*

Редактор *Л. Белов*
Художественный редактор
К. Буров
Технич. редактор *В. Быкова*

*

Сдано в набор 19/VI 47 г. Подписано к печати 19|IX-47 г. А-02095 Печ. л. $12^3/_4$ + 4 вклейки. Уч.-авт. л. 9,5
Тираж 15 000 экз. Формат бум. $70 \times 92^1/_{16}$
Заказ № 3944.

*

6-я тип. треста „Полиграфкнига"
ОГИЗа при Совете Министров СССР.
Москва, 1-й Самотечный, 17.

*

15р.

